До встречи в раю

Автор:
Сергей Дышев

До встречи в раю

Сергей Михайлович Дышев

Правительство бросило этот полк на произвол судьбы, оставило медленно сгорать в огне междоусобной войны. Командир полка Лаврентьев держит осаду с одним солдатом и двумя десятками прапорщиков и офицеров. А вокруг – полный хаос. К оружейным складам рвутся банды, город кишит отпущенными на волю зэками и сбежавшими из дурдома психами. Эти гротескные сцены напоминают сценарий для фильма ужасов, но самое страшное то, что все так и было на самом деле…

Сергей Дышев

До встречи в раю

Полковнику Владимиру Михайловичу Житаренко – журналисту, погибшему на чеченской войне.

К-Тюбинский гарнизон.

113-й мотострелковый полк МО РФ

(в/ч 12345) (Конец XX столетия)

Лаврентьев заснул на «панцир-кровати» полулежа, опершись спиной на карту неподеленной еще родины, аккурат там, где была Таджикская Советская Социалистическая Республика. Ресницы его подрагивали, будто грезились ему в полудреме яркие вспышки усопшего дня; в полуприкрытых глазах отражались желтые лучи керосинки, серебристыми опилками отсвечивала отросшая щетина, на воротнике топорщились темно-русые космы. Крепкие узловатые кулаки подрагивали на заправленном по-уставному одеяле синего цвета, пальцы были сжаты – то ли от злости, то ли от глубоко запрятанной боли. Наверное, все нутро у него страдало, источенное язвами от хреновой жизни.

Когда человек спит, он обнаженно-беззащитен. Лаврентьев спал – почти не дышал. Даже не храпел, как обычно, – обессилел. Потрескавшиеся губы, массивный подбородок, безвольно опущенный на грудь. Не Лаврентьев, привычный энергоноситель, а полудохлая рыба, болезненная, загнанная в сеть…

Ольга тихо отворила дверь, осторожно опустилась на стул перед забывшимся Лаврентьевым, подумала: «Мне кажется, что я знаю про него почти все».

За черным окном перешептывались длинные ветви тополя. Они будто хотели заглянуть в маленький желтый кусочек окна и выяснить, почему обитатели дома прячутся за спинами и животами бесформенных толстяков, которые вповалку неподвижно лежали на подоконнике аж до самой форточки. Мешки на окнах имеют свойство преображать любое помещение, навевая неистребимую складскую тоску.

Один мешок прохудился, из него серой струйкой сыпался песок. Ольга проследила взглядом: на полу вырос маленький холмик. «Как в песочных часах, – подумала она. – Только в обратную сторону уже не повернешь.» И еще она вспомнила поразившую ее фразу о старых людях, из которых тоже песок сыплется: неужели это правда? Она поежилась, почувствовала мимолетную тревогу и, чтобы успокоиться, пристально всмотрелась в Женечкины черты. «И вовсе не такой он старый!» Даже сейчас, когда его лицо продолжало хранить болезненное напряжение, оно действовало на нее успокаивающе.

Оля незаметно для себя задремала, ощутив сквозь сон, что дыхание их попало в такт, и это необычное единение приятно поразило ее. Только у нее вздымалась грудь, а Женечка, как и все мужчины, дышал животом, ему мешал туго стянутый ремень. «Мне не стыдно смотреть на него», – подумала она. Оле захотелось погрузить пальцы в его отросшие рыжеватые волосы, схватить и подергать

бакенбарды, притянуть к себе, прижать к груди эту глупую и нелепую голову. Она протянула руки, но в последнее мгновение, сожалея, медленно отвела. Она попыталась вспомнить, когда последний раз спала с мужчиной. С кем – помнила, но вот когда… С некоторых пор мужские человеки вызывали у нее беспричинное раздражение, она устала быть в их глазах сексуальной жертвой. Особенно выводили ее из себя местные. Особенно после «суверенизма», по причине которого население просто стонало от счастья. Наиболее прыткие лица мужского рода сразу же бросились «приватизировать» всех «некоренных женщин».

Комната неожиданно поплыла. Чтобы удержать ее, Ольга судорожно схватилась за Женькино колено, иначе бы рухнула с грохотом.

Лаврентьев вздрогнул, поднял припухшие веки.

– Чего тебе?

– Извините, я случайно, – сипло произнесла Ольга.

– Иди спать!

Она поспешно встала, отодвинула стул. Коптилка мигала, высасывая последний керосин.

– Черт, из Москвы должны позвонить! Этот…

– Там уже все спят. Давно…

– Должен позвонить этот… Ч-чемоданов! – Он покосился на короткую юбчонку Ольги. – Какого черта так вырядилась?

– Жарко, – произнесла она заранее приготовленный ответ и почувствовала, как по обнаженным ногам пробежал холодок. «Дура набитая! Только это ему сейчас и надо!»

Лаврентьев действительно забыл про Олины ноги, он отхлебывал из кружки холодный чай и затягивался сигаретой. Пепел сыпался на колени.

Скрипнула дверь, появилась голова в очках, за ней проскользнул и сам хирург Костя по кличке Разночинец. Он молча подошел к Лаврентьеву, слегка пошатнулся, его очки тревожно блеснули. Костя стал неторопливо раскладывать на столе различные вещички: зеркальную коробочку со шприцем, пузырек, ватку, потом он задрал у клиента рукав и, прыснув из иглы в небо, воткнул ее в руку. Так же бессловесно Разночинец собрал эти почти культовые предметы и уже направился к двери, когда лаврентьевский голос его остановил:

– Ты опять пьян. Посадил бы тебя на «губу», но сейчас это было бы слишком экстравагантно. Спирт остался?

– Принести?

– Не надо. Докладывай.

– Принял роды. Мальчик.

– Хорошо. Это к войне.

– Заштопал трех аборигенов.

Лаврентьев задумался. Костя решил, что самое время улизнуть: впрыснутое начнет рассасываться, шефу станет хорошо, в прогалинах черепной коробки – отчетливо и свежо, потом начнется энергетический позыв к действию, а ведь ему, Костику Разночинцу, очень хотелось спать. Уйти, прихватив оставленный за дверью еще теплый от солнца автомат калибра 5,45, пуля – гуляка-телорванка. Он, хирург, и то ужаснулся почти до рвоты, когда впервые увидел, что натворил этот заостренный кусочек тускло-желтого цвета.

Костя осторожно попятился к двери, но Лаврентьев снова остановил его:

– Садись, будешь писать.

Костя обреченно сел, снял очки, стал протирать глаза, потом стекла. Закончив, придвинул большую книгу с разлинованными синими листами: в ней что-то учитывалось.

– Сегодня на этом столе лежали три миллиона рублей и два золотых слитка. Очень приличных. Они хотели, чтобы я продал им три танка.

– А кто это был? – испуганно спросила Ольга.

– Не перебивай! – сверкнул белками глаз Лаврентьев. – И один из них, Салатсуп, или Супсалат, выложил на стол гранату и сказал, что подорвет меня на хер и всех их троих заодно, если я не уступлю. Но (это, Костик, выдели толстыми буквами) гвардии подполковник Лаврентьев в сложившейся экстремальной ситуации не дрогнул, проявил хладнокровие и воинскую смекалку, уверенно и четко послав представителей Нацфронта на хер. Что они незамедлительно и исполнили. Жертв и разрушений нет… Этого же дня была обстреляна машина, направлявшаяся во второй караул. Ранен в руку офицер Скоков. Навылет…

Лаврентьев потянулся за сигаретой, почесал заросший щетиной кадык.

– Двадцать лет назад у меня была тысяча возможных вариантов судьбы, хотя сам я был зеленым огурцом с желтой рисочкой на правом или, не помню, левом рукаве. Престижный юноша, помышлявший о загранбазах на землях демократических друзей по временной идеологии. Все оказалось еще более временно, да так, что я не успел добраться до этих самых друзей. А многие мои однокурсники успели. «Друзья» же почему-то перестали дружить и стали обзываться в наш адрес. Когда лев уходит, все мартышки – триумфаторы. Верещат в своем обезьяннике, пердят и радуются… По выпуску мы все, как один, обзавелись фарсово-утонченной деталью туалета – лаковыми сапогами с зеркальными раструбами и вставками из китового уса. Да-да, это было очень модно. Не знаю, сколько там китов перебили. Сейчас этого шика не понимают.

– Это все записывать? – подал голос Костя, чуть не падая со стула.

– Это – необязательно, – ответил Лаврентьев, он же – пора об этом сказать – гвардии подполковник, командир проклятого богом 113-го мотострелкового полка Российской империи. – Перед выпуском я, правда, уже не имел тысячи фантастических помыслов – гораздо меньше. Подвистники кадрового труда в училище сузили мне горизонт до пяти округов, причем самых скверных. В душе я вскричал на распределении: «Чтоб вас, отъевшихся московитян, самих пнуть на Бузулук с Тайшетом, под Читу с матерью!» Но вслух скромно молвил: «Готов служить там, где прикажет Родина-мать!!!» Мой ответ почему-то никакого

впечатления не произвел, никто не бросился меня обнимать, жать руку, поздравлять с безусловной патриотичностью, пятибалльностью характера, лояльностью и всеми моими новоиспеченными лейтенантскими качествами. – Лаврентьев закашлялся. – Ты что, записываешь? Зачеркни! Хотя оставь. Пусть будет как у фюрера: личный летописец. Биограф…

Третьи сутки он не смыкал глаз и уже предвкушал появление галлюцинаций… Костя уснул, открыв щербатый рот, очки сорвались, зацепившись дужкой между ног. Ольга поминутно вздрагивала, поднимала голову, мутно взирала на Лаврентьева, на сверкающую шприцевую коробочку – лучик сверлил глаза. Она продолжала клевать носом, и желтый лучик, преломивший огонь керосинки, бледнел, обтекал тихо и ласково, успокаивал теплой сытостью золота…

Она встала и, чтобы стряхнуть сонливость, провела ладонями по лицу.

Разночинец ушел. Лаврентьев курил, стряхивая пепел мимо пепельницы.

– Евгений Иванович, я давно хотела спросить вас… Вот вы уже три года без отпуска, все время здесь, в полку, ведь это ненормально, никаких человеческих сил и терпения не хватит.

– Да, Олечка, это и у меня за гранью понимания.

– Вы простите мою навязчивость, наверное, я бестактна, лезу вам в душу… Вы не смеетесь надо мной?

– Не смеюсь, лезьте дальше. – Лаврентьев подавил зевок, хотел извиниться, но передумал.

Ольга свела коленки, обхватила их руками, будто внезапно озябла, потом распрямилась, глянула в глаза Лаврентьеву, ожидая увидеть самое неприятное – иронию, насмешку, даже презрение. Но Женечка смотрел печально и устало, и Ольга мысленно поблагодарила бога за то, что не поторопилась заговорить о сокровенном, о том, что мучило ее, не давало покоя ее бабьей натуре: почему «неоприходованный мужик» три года живет бобылем, имея при этом жену, сына.

Всех полковых дам занимало это несоответствие. Завидев угловатого дерганого подполковника, злого на язык, у которого вот-вот вместо слов вылетят острые гвозди и шипы, а то и пулеметная очередь, они щурились, усмехались украдкой и делали вывод: хороших женских рук нет для Лаврентьева. Дамы побаивались комполка, торопливо здоровались первыми и дефилировали далее, как правило, непроизвольно усиливая виляющее движение бедрами. В этом крылась какая-то загадка, нравы в полку не отличались от среднестатистических: как и везде, здесь от 12,5 до 19,75 процента женщин изменяли хоть раз в супружеской жизни. Обыкновенные цифры. Но вот при виде хмурого командира в/ч 12345 всех женщин помимо воли начинало «раскачивать». Этим интересным наблюдением поделилась однажды в узком кругу супруга «энша» – начальника штаба – Вероника Штукина. После этих откровений за спиной Штуки, как прозвали ее, звучал срамной, с оглядкой, смешок. Впрочем, подхихикивая, каждая знала и за собой этот странный позыв к раскачке – от неясных желаний, томления, гарнизонной скуки, бедной на эмоциональные переживания…

– Ну говори, что хотела? – недовольно спросил Лаврентьев. – Рапорт на отпуск, звание «прапорщик Российской Федерации»?

– Никак нет, товарищ подполковник. – Ольга мгновенно поджала губы, будто ей показали крепкую витую плеть. Она встала, продемонстрировав стойку «смирно», свела коленки вместе, хотела еще выпрямить по-солдатски грудь, но не стала, ни к чему сейчас было. «Что-что, а этого не получишь!» – со злорадным тщеславием подумала она, зная цену упругой тяжести, которой ее наградила природа.

– Сядь. А лучше сделай чаю.

– У меня кофе есть, – сказала она.

– Сделай кофе.

Она вышла, Лаврентьев переместился за стол, на котором находились папка с приказами, стакан с потекшими ручками, сломанными карандашами, а также обрезанная под основание снарядная гильза, которая служила пепельницей. Рядом матово отсвечивал тяжелый черный телефон, который болезненно вздрагивал от неурочных звонков, – сейчас забывшийся в коротком полусне, но все еще переполненный чьими-то голосами, криками, матом, треском, хрипом…

Лаврентьев вдруг испытал желание поднять трубку, выйти на «Рубин» – в столицу Федерации, пока еще была телефонная связь, и от души нахамить какому-нибудь заспанному дежурному генералу в штанах с примявшимися лампасами, ошарашить убийственной «прямой речью», чтоб у того коленки подкосились, чтоб поразить в душу, неожиданно, как плевком из унитаза. «Товарищ генерал, тут такие дела, короче, кофе закончилось! Что-что… Сам-то небось пьешь сейчас? А ежели не пришлете, будем на танки менять! Чего-чего… Знамо дело – на кофе! А, уже проснулся, голубчик! Что это я такое позволяю себе, и кто я таков? Да, так точно, командир 113-го полка, нос до потолка. Нет, я вполне нормален. Где мой заместитель? Повез личный состав полка на Черное море – купаться. А я тут один, самолично… Ну ладно, покедова. Столице привет, товарищ генерал. Да ты не огорчайся, я понимаю, надо ж, угораздило, прямо на твое дежурство такие звоночки. А ты не докладывай. Ну ладно, давай, будь здоров, смотри там, чтоб все по уставу, не маленький, генерал все же!»

Лаврентьев обожал московских генералов. Паркетные тихони генштаба, они на оперативных телефонных просторах превращались в величавых полководцев, лучезарных и мудрых наставников, суровых и требовательных радетелей за державу. В последнее время они все чаще обрушивались на Лаврентьева массой звонков. Но повышенное внимание выражалось не в материальной помощи, а во множестве указаний, которые он получал по всем аспектам жизни и службы. Лаврентьев также отвечал на всевозможные, по большей части странные вопросы, и его ответы, вероятней всего, затем использовались как начинка для докладных записок, всяких там справок и отчетов.

Ольга принесла чайник с горячей водой, насыпала в чашки растворимый порошок, поставила привычно на край стола. Они стали пить черную жидкость, еле теплую, с островками непотопляемого порошка. В принципе «островки» не мешали. Ольга радовалась, что сохранила остатки кофе. Лаврентьеву тоже было неплохо.

– Вы простите меня, Евгений Иванович, – решилась Ольга. – Мне все равно, конечно, но вот наши бабы, а они, знаете, какими могут быть злыми, языкастыми, мстительными…

– Да что ты говоришь, никогда бы не подумал!

– Да… И знаете, что про вас говорят, что вы как бобыль живете?

– Что я педик?

– Нет. Говорят, что вы уже обессиленный и вас только что жалеть осталось, монах, говорят, святой, все силы только на службу.

– Правильно говорят. И что ты хочешь от меня в связи с этим? Юбку не по уставу, выше нормы задрала.

– А где норма, Евгений Иванович? – Ольга глянула на свои ножки, двумя пальчиками коснулась края юбочки.

– Норма – в личной порядочности и скромности, девушка. Я твой командир, но это вовсе не значит, что мне должно хотеться прямо аж до залысения головной части… Травим тюльку… Костя дозу мне врезал, чтоб ваш кормчий продолжал функционировать. – Лаврентьев говорил размеренно и монотонно. – Черт бы побрал наше зазаборное эрзац-общество! Среди грязного веселья эти фундики и фантики, фокусы и покусы… Я могу раздолбать к едрене фене всю эту свору, сжечь всю долину, а реку выпарить в банную пыль!

Фундиками в этих жарких землях называли приверженцев фундаментализма, а фантиками, по подобию, – их заклятых врагов из Национального фронта, подразумевая свойственный им фанатизм.

– Женя!

Ольга уже знала, что Лаврентьев стал быстро заводиться, и она незаметно переходила на «ты». Торопясь сказать важное, он не замечал, точнее, не слышал, перебивал. Разговор был одним и тем же: что есть сила, что он всех в кулак сожмет, прищучит, разнесет в пух и прах всех фундиков и фантиков, потом примет мировую, посадит тех и других в столовую, заставит лопать плов, шурпу, шашлык, лагман, манты, потом русский борщ, пельмени, кулебяки, расстегай… – чтоб всех раздуло, как подгулявшую мартовскую жабу. А потом свалить их в один зиндан – яму, в которой познаются тонкости восточного гостеприимства, и не выпускать до тех пор, пока не просвистятся и не помирятся. «Вожди-шишаки, – говорил командир, – умные люди. В конце концов между собой разберутся, помирятся. Вся беда в том, что благие их помыслы почему-то не всегда по душе народу…»

После запальчивых речей Лаврентьев остывал при помощи простого способа: открывал шкаф, где стоял молочный бидон, черпал кружкой коньяк, глотал, предлагал ей, она отказывалась. Иногда ей удавалось пресечь попытки на полпути к шкафу. Она безошибочно ловила этот момент. Точность и мгновенность Ольгиной реакции действовали неотразимо.

Лаврентьев отправил отдыхать уснувшую Олю, которая так и не сказала главного, сокровенного. Она не проснулась и ушла в свою темную комнатку, передвигаясь как сомнамбула. После чего Евгений Иванович побрился тупым лезвием «Шик», причем «насухо» – с водой мороки было бы больше, да и не хватало ее. После этой операции он вылил на лицо остатки одеколона и приказал часовому у дверей не будить его, даже если на стадион начнет падать китайский десант, а в реке всплывет американская атомная субмарина «Посейдон». Часовой, из прапорщиков, щедро заулыбался, обнажив коричневые десны, кивнул каской… Вот, пожалуй, все, что запомнил на этот утренний час Е. И. Лаврентьев, гвардии подполковник, командир 113-го полка. Он заснул крепко, как и положено донельзя уставшему, но счастливому человеку.

Вряд ли кого интересовало, какие горячечные видения тревожили Лаврентьева. В его ногах молча стояли трое крепколобых мужчин, напоминая своим безучастным видом консилиум, на котором никто не отважится произнести вслух роковой диагноз, чтоб затем приступить к развязке. Рядом с кроватью стояли: майор Штукин, хирург Костя с принадлежностями для инъекций и прапорщик-охранник, вооруженный автоматом. Штукин в этом «консилиуме» являл собой «вершителя судеб», Костя, разумеется, врачевателя, а прапорщик с автоматом символизировал неотвратимую смерть. Все трое по привычке прислушивались к звукам выстрелов, коротких очередей и взрывов за окнами. Они пришли, чтобы прервать сон командира и посмотреть на его реакцию: над плацем летают пули, срезают верхушки деревьев, с визгом влетают в стены, откалывая штукатурку, и, что особенно печально, пока невозможно определить, какая из сторон так настойчиво обрабатывает нейтральную зону, которой и являлся 113-й полк.

– Евгений Иванович, – произнес Штукин.

– Товарищ гвардии подполковник, – позвал командира Костя Синицын.

– Подъем, – после долгой паузы не очень уверенно подал голос прапорщик, вспомнив свое недавнее старшинское прошлое, которого лишился по причине отсутствия личного состава.

Командир поморщился, приподнялся, сел, прислушался.

– Стреляют?

– Со всех сторон лупят! – торопливо стал докладывать Штукин. – Люди все по боевым расчетам.

– Через забор не лезут?

– Кто? – уточнил Штукин.

– Ну не наши же…

– Нет… Пока нет.

– Как полезут – стрелять на поражение, – сказал Лаврентьев.

Лаврентьев вышел в коридор, миновал сонно мигающего дежурного за стеклом, вышел из дежурки и уже на улице пристроился за капитаном и прапорщиком.

И в самом деле, выстрелы доносились со всех сторон. А рядом, на футбольном поле, стоял многоголосый вой беженцев. С неделю назад они прорвались в полк, заполонили буквально каждый свободный метр, все пустующие помещения, спасаясь от лиходейства своих земляков. День и ночь они молили судьбу и всевышнего о пощаде, о каре для врагов, а в затишье просили воды, кормежки, кричали, угрожали, требовали навести порядок в городе, то есть перестрелять всех гонителей и мучителей.

И тут, как раз за столовой, все увидели темные фигурки, штурмующие забор. Беженцы тоже увидели их, и вой стократно усилился – страшный женский вой.

Офицеры открыли огонь. Первыми упали те, кто успел перелезть через забор. Потом на главной аллее прапорщик-часовой установил пулемет Калашникова и тут же тугой очередью ударил в сторону ворот. А с той стороны тяжелым грузовиком таранили железные прутья. В него впилась кинжальная очередь, он застыл, уткнувшись слепо в ворота. Наконец, на башенке бронетранспортера

включился крупнокалиберный пулемет, прошелся по кромке бетонного забора, круша ее в пыль, стальные «жуки» с хрустом впивались в стволы деревьев, вырывая огромные щепки. Боевиков как сдуло.

Боевая машина рванулась к воротам, полоснула очередью по грузовику, тот вспыхнул, с оглушительным хлопком рванули бензобаки. На фоне языков пламени красные звезды на воротах КПП выглядели зловеще и символично.

По аллее возбужденно прохаживался, потирая руки, полуоглохший прапорщик-часовой (кавказской национальности) и, ни к кому не обращаясь, говорил:

– Хорошо я им вмочил! Ух, как ответственно впиндюрил!

И все, в том числе Лаврентьев, понимали, что прапорщик-пулеметчик вовсе не красуется перед командиром с определенной практической целью. Все знали, что прапорщик имел облегченное представление о радостях жизни, всем сердцем полюбил здешнюю бардачную войну и его даже не тянуло на Кавказ к воюющим соплеменникам.

* * *

Иосиф Георгиевич Шрамм мысленно обмакнул перо в чернила и стал писать. Пользовался он, конечно, обычной шариковой ручкой, хотя давно мечтал завести перьевую, но все как-то не получалось. Он считал себя человеком старомодным, отрастил бородку клинышком, носил очки в золотой оправе и все собирался завести сюртук. После каждой встречи с пациентом он делал записи в тетради, на обложке которой значилось: «Доктор И. Г. Шрамм». Хотя доктором в смысле научно-иерархическом не был.

Работал Иосиф Георгиевич в психиатрической клинике, между прочим, главным врачом. Втайне он считал себя крупнейшим специалистом и, безусловно, одним из выдающихся людей города. Город об этом не догадывался, впрочем, был он никчемным, скучным. Обыкновенная южная провинция, в которой жили обыкновенные, нормальные, славные люди, вели размеренный, здоровый образ жизни, и, конечно, ни к чему была здесь огромная, просто оскорбительно огромная лечебница для душевнобольных.

В эту же минуту Иосиф Георгиевич аккуратно выводил: «Больной Цуладзе Автандил отличается слабыми тормозными процессами… – Тут доктор вспомнил, как больной назвал его приспособленцем, и решительно дописал: – И крайне низким уровнем сознания и эрудиции».

Многих больных перевидал на своем веку Шрамм. Его душили, разбивали в кровь лицо, ломали руку, давили с хрустом его золотые очки. Но именно Цуладзе по-особому растревожил и расстроил доктора, да так, что не хотелось и признаваться в этом… Тут надо сказать, что Иосиф Георгиевич был давним тайным сторонником фрейдовского психоанализа, не изменил ему и в постсоветскую эпоху. И вот сейчас в его душе поселилось беспокойство. Он пытался отогнать навязчивую мысль, заставляя себя считать, что ее нет. Но в том-то и дело, что она была и по всем известным доктору правилам разрасталась в невроз, буквально натирала мозоль в его голове. Мысль же была следующая: «Я ничтожество, я подавляю свои комплексы и жалко сублимирую в своей писанине, которая на хрен никому не нужна!»

Неделю назад жена сообщила ему о своей беременности, такой несвоевременной и нелепой, когда вокруг все рушится, все ненадежно и прежнее благополучие рассыпается, как дом из песка. Людочка была на двенадцать лет младше его. У них росла дочь. Два старших сына Иосифа Георгиевича от прошлого брака жили отдельно… Но вот что самое ужасное: супруга надумала рожать! А накануне доктору приснился гадкий сон: будто он в исподнем качается на доске с каким-то мужиком, а его Людочка, тоже в исподнем, идет навстречу и вдруг садится на сторону незнакомца. Доска перевешивается, он повисает в воздухе, ему очень страшно, он сучит ногами, а супруга и тот мужик бурно целуются.

Утром, проснувшись и глянув на спящую жену, он отчетливо понял, что ребенок не от него…

Доктор снова захлопнул свою тетрадь и вызвал старшую медсестру. Аделаида Оскаровна, женщина сорокалетнего возраста, молча уставилась на Шрамма.

– Как там Малакина, по-прежнему не кушает? – спросил доктор.

– Нет. Пытались кормить насильно – так она кашляет, выплевывает. А еды и так не хватает.

– Может, ее усыпить? – в раздумье произнес доктор.

– Наверное, придется, – тут же согласилась медсестра.

– Да, вот еще что. Сделайте больному Цуладзе инъекцию однопроцентного раствора апоморфина.

– Апоморфина?! – Черные брови Аделаиды Оскаровны вздрогнули, глаза еще более округлились. – Но ведь он вызывает сильные приступы тошноты, рвоту.

Шрамм строго посмотрел на старшую медсестру:

– Начинаем новый курс лечения. По специальной методике.

Про себя он злорадно подумал: «Пусть прочувствует, как меня тошнит от его блаженного умничанья!» После чего он сделал приписку в тетради: «Попробуй, сволочь, апоморфину в задницу!» И отметил заметное улучшение настроения.

Худшие предположения доктора подтвердились: жена ему изменила, и не просто с кем-то, а с человеком, который уже при жизни стал легендой, устрашающим символом для врагов, всесильным и могущественным мессией, кумиром масс. Это был не кто иной, как Лидер национального движения республики – Кара-Огай. Штаб-квартира его находилась волею судьбы в К. Буквально на следующий день после мучительных размышлений и догадок доктор увидел супругу в белом «Мерседесе» Лидера и сразу все понял по ее глупо-счастливому выражению лица. Иосиф Георгиевич почувствовал боль и опустошение. Он как раз собирался идти домой, но повернулся и потерянно побрел обратно в клинику, открыл свой кабинет, зачем-то достал свою тетрадь, рассеянно перелистал ее, схватил ручку, тут же бросил ее и расплакался.

«Ну все», – с тоскливой отрешенностью подумал Иосиф Георгиевич. Его тетрадь по-прежнему лежала раскрытой, и он написал поперек листа: «Я – рогоносец».

Из больницы Иосиф Георгиевич вернулся поздно вечером. На столе он увидел клочок бумаги, который оказался запиской. Доктор поспешно взял ее, и буквы

запрыгали перед глазами.

«Вся моя жизнь с тобой была сплошной ошибкой, – с недоумением, переходящим в ужас, читал он размашистые строки. – Твои невыносимые причмокивания за обедом, твои вывернутые ноздри, руки в старческих веснушках, твои глупости и умничанье! Меня тошнит от всего, что связано с тобой. Прости, но я не могу, меня медленно убивает твой запах, напоминающий прокисшее молоко. Мне надоело стирать твое вонючее белье и еще более вонючие носки. Кроме того, ты – ЧМО и в достаточной степени идиот, как и все твои друзья в психушке, и мне доставляет огромное удовольствие сказать тебе об этом. Мне всегда не хватало настоящего мужика, который драл бы меня как козу. Кстати, ребенок мой будущий не от тебя. Не вздумай меня искать. Это бесполезно и даже опасно. Будешь приставать – тебе оторвут все выпуклости. Я ухожу к Кара-Огаю. Дочка пока будет у мамы, потом я ее заберу. Алименты оставь себе. Извини за немного резкий тон. Спасибо за совместную жизнь. Будь здоров. Не твоя Людмила».

Нетвердой походкой доктор дошел до дивана, грузно рухнул на него, судорожно вцепился в подлокотник и разрыдался бурно, страшно и чуть-чуть театрально.

Тут его осенило: да ведь это неправда, это просто шутка! Люся куда-то спряталась, она разыгрывает его. Сейчас он найдет ее, она засмеется, нехорошая маленькая проказница, он тоже засмеется вместе с ней, вытрет слезы и попросит больше никогда так не шутить, потому что это жестоко и очень обидно… Доктор бросился в другую комнату, открыл шкаф. Все ее вещи висели на месте, и это укрепило уверенность доктора. Он бросился на кухню, где со вчерашнего дня в раковине оставалась грязная посуда. «Вымою, вымою, все сделаю, лишь бы отыскалась!» – всхлипывая, думал Иосиф Георгиевич.

Но Люси не было – ни в туалете, ни на балконе, ни под кроватью. Доктор постарался совладать с собой.

– За любовь надо бороться! – прошептал Иосиф Георгиевич и поразился неожиданной глубине и емкости этой фразы.

Доктор выскочил на улицу, даже не прикрыв двери. Он припустил по темной аллее, постоянно натыкаясь на кучи мусора. В конце концов ноги сами повернули к зданию горсовета, где располагался штаб. «Сидит там при старикане Кара-Огае, поджав под себя ноги, пьет чай из пиалы», – наглядно

представил Шрамм.

Что-то разорвалось, на мгновение ослепило и оглушило доктора, и он инстинктивно пригнулся. Шибануло гарью. Он понял, что ему едва не отстрелили ухо.

– А ну – стой! Руки за голову! – рявкнули из темноты.

Доктор немедленно подчинился.

– Точно – фундик! Давай сюда.

Ноги у доктора отяжелели, как во сне, он шагнул в сторону голосов, продолжая держать руки за головой. И прежде чем различил лица, получил некрепкий удар в челюсть, покачнулся, но мужественно удержался на ногах.

– Давай живо к стенке!

Спотыкаясь, ничего не понимая, Шрамм подчинился, застыв у стены незнакомого дома. «Главное – не перечить им, ведь я ни в чем не замешан», – лихорадочно успокаивал он себя, хотя хорошо знал, что в нынешние времена людей приканчивали просто от скуки.

– Фундика заловили! – раздался торжествующий голос.

– Надо его замочить! – добродушно отозвался другой.

Доктор не был искушен в жаргоне, но понял моментально, что дела его – скверней не придумаешь.

– Повернись! – крикнули у него над ухом.

Доктор торопливо выполнил команду.

– Урюк, через какое плечо поворачиваться надо?

В лицо ударил свет фонаря, а в боку он почувствовал ствол автомата.

– Отставить! – последовала команда.

Доктор послушно повернулся через левое плечо, как учили когда-то на военной кафедре мединститута.

– Фундик? Лазутчик? Отвечай, собака!

– Я никакой вам не фундик. И не собака! – оскорбленно ответил Иосиф Георгиевич. – Я доктор медицины.

– Доктор? – Один из незнакомцев рассмеялся. – И куда ж ты собрался так поздно? Клизмочку ставить? Или укольчик в попку? Говори!

– Я ищу свою жену, – чистосердечно ответил доктор.

Люди, а их уже собралось немало, от души рассмеялись.

– Опоздал, дядя! Ее, наверное, уже где-то оттягивают.

Кто-то сзади схватил его за волосы, резко рванул голову назад. Другой приставил нож к горлу.

– Говори, пес, куда шел?

– Мне в горсовет… – хрипло проговорил он.

– Ага, сознался! – обрадовался мужчина с короткой бородкой, видно старший. – Сейчас ты у нас все расскажешь, фундик гребаный, грязь болотная, дерьмо свиное…

– Салатсуп, да это же доктор психушный! Он в дурдоме работает. – В круг протиснулся парень, которого, как и остальных, Шрамм видел первый раз в жизни.

– Доктор, говоришь? – заинтересовался Салатсуп. – А раны огнестрельные лечить можешь?

– Нет-нет, – поторопился отказаться Шрамм, сразу уловив, какую перспективу ему хотят предложить. – Я психиатр, это совершенно другая, понимаете, кардинально другая специальность.

– Что такое – «кардинальная»? – строго спросил Салатсуп.

– Ну это, как сказать лучше, – заторопился доктор, – ну это совсем другая работа. Я лечу душевные болезни, и никакие другие. И если нужны консультации в этой области…

– Ты, старый дуралей, считаешь, что мы психи? – взорвался кто-то из молодых. – Фундиков иди лечить, козел.

В конце концов боевикам надоело потешаться над доктором, а когда они узнали, где собирается Иосиф Георгиевич искать свою жену, приумолкли. Салатсуп по-хорошему посоветовал проваливать поскорей домой, укрыться одеялом, а наутро забыть все, что хотел сделать ночью. Доктора подтолкнули и посоветовали идти по освещенной стороне, чтобы случаем не подстрелили.

Люсю он увидел уже утром, недалеко от горсовета. Она сидела в белом «Мерседесе» Лидера, с царственной небрежностью развалясь на заднем сиденье. Ослепительно белые волосы в беспорядке рассыпались на бархатных чехлах. «Как она совершенна и безупречна!» – с болью подумал доктор. Он тут же заметил на ней новое ярко-красное платье со стоячим воротом и глубоким вырезом на груди, который подчеркивал красоту ее гибкой шеи и матовой кожи… Возле машины скучал битюг в черной куртке с автоматом на плече.

Подойдя, он решительно рванул дверку, но она не поддалась. Тут же битюг, вскинув автомат, бросился к нему.

Люся, к счастью, вступилась. Открыв окно, она властно крикнула:

– Курбан, оставь его! Это мой… знакомый.

– Выходи, пойдешь домой! – Он предпринял последнюю энергичную попытку, даже просунул руку за стекло, чтобы добраться до ручки.

Она натужно рассмеялась, обнажив белые зубы. Охранник покосился на них, ухмыльнулся и покачал головой. Он курил «Мальборо».

«Какие у нее колючие глаза!» – подумал Иосиф Георгиевич, мучительно сознавая, что несправедливая ее ненависть высасывает ему душу, изнуряет, приносит страдания. И вдруг он почувствовал, как накатило, наплыло болезненное наслаждение.

– Не бросай! – застонал он. – Не бросай. Хочешь – изменяй, рожай от него детей, только не уходи! Не будь настолько жестокой. Хочешь – бей, плюй на меня, но не уходи. У нас же дочь, пойми, ей нужен отец.

– У нее будет настоящий отец.

– Я имею права!

– Ты всегда был занудой. – Она прищурилась. – Если не будешь действовать мне на нервы, я разрешу тебе иногда встречаться с ней. И имей в виду: мне достаточно сказать одно слово, и из тебя вынут все внутренности, а твою голову наденут на палку и отнесут к твоим психам. Тут у них новая мода появилась – голову отрезать. Не хотелось такое говорить, но сам знаешь, они на все способны. Да, возможно, через пару-тройку дней заеду, возьму что-нибудь из моих тряпок. Пустишь?

Она отставила в сторону ногу, специально, чтобы она показалась в разрезе, играючи, притопнула. Было, было, что показывать. Охранник, вывернув голову, глянул плотоядно, клацнул зубами.

Люся проворно прыгнула на сиденье. Иосиф Георгиевич поторопился прикрыть дверь. Как он потом корил себя за эту плебейскую услужливость: сам, своей рукой отринул любимую женщину! И еще дверцу прикрыл. «Мерседес» рванулся белой птицей, бесшумно набрал скорость, оставив позади черные обожженные дома, развалины, грязь и мерзость жизни, а также несчастного доктора Шрамма.

* * *

Лидер Национального фронта приехал на черной «Волге» в сопровождении еще двух машин с охраной. Лаврентьев распорядился пропустить только «Волгу». Кара-Огай, седобородый, кряжистый, в распахнутой кожаной куртке, с кобурой на поясе, вылез из машины неторопливо, со старческой грузностью, поднялся по ступенькам на крыльцо. Лаврентьев первым протянул ему руку, тот крепко сжал ее своей огромной ладонью, и командир подумал, что хватка у старика по-прежнему завидная. Вместе с Лидером приехали полевой командир Салатсуп и девица неопределенных лет в потрепанных джинсах, ее сопровождал вертлявый паренек с тонкими губами.

– А это кто? – спросил Лаврентьев, ткнув в их сторону.

– Американское телевидение, – ответил Кара-Огай.

– На кой черт ты их привез?

Лидер не ответил. Девица подошла, виляя бедрами, и залепетала что-то на своем. Парень тут же стал переводить:

– Господин подполковник, мы представляем компанию Си-эн-эн. Корреспондент Фывап Ролджэ, – он показал на напарницу, – и я, Федор Сидоров, оператор. Мы хотели бы попросить вас ответить на несколько вопросов.

– Мне некогда.

Оператор стал нервно переводить, девица учащенно задышала, повернулась к Кара-Огаю.

– Уважаемый Лидер Национального фронта! – торжественно заговорил парень. – Согласитесь ли вы ответить на некоторые наши вопросы?

– Я готов ответить на любые вопросы.

Парень поспешно стал готовить аппаратуру.

– Каковы цели и задачи вашего движения?

Кара-Огай удовлетворенно кивнул, заговорил размеренно, без пауз. Фразы его были округлыми, будто отлитыми из крепкого металла.

– У каждого народа своя судьба. Наш многострадальный народ многое вынес, вытерпел, и история последних лет красноречиво говорит в пользу того, что должен был наконец наступить счастливый период. Мы шли к нему, как птица, которая летит в теплые края. Но известные вам и всему миру враждебные силы решили захватить власть в свои руки и не погнушались при этом пойти на кровавые преступления, втянуть в войну наш многострадальный народ, уничтожить законно избранного президента. Поэтому мы, отстаивая законы и идеалы справедливости, равноправия, интернационализма, суверенитета, объединились в наш Фронт.

– Это правда, что вы сидели в тюрьме? – перевел оператор очередной вопрос.

– Да, – без тени эмоций ответил Кара-Огай. – Я пробыл в заключении в общей сложности девятнадцать лет.

– А за что?

– Это долгая история. Для некоторых людей я был опасен, и они сделали все, чтобы посадить меня.

«Ловко», – оценил ответ Лаврентьев. Он прекрасно знал, что Кара-Огай сроки имел за бандитизм и убийство. Лаврентьев взял за локоть Салатсупа и негромко, но внятно произнес:

– Как закончит, пусть ко мне идет. Я жду.

В кабинете он застал Ольгу. Она сказала, что на проводе дожидается генерал Чемоданов из Москвы.

– Пошли его к черту. Скажи, что у меня саммит, прибыла высокая договаривающаяся сторона. И пусть Штукин зайдет.

Ольга тихо вышла. Тут же появились Кара-Огай и Салатсуп.

– Этого я не приглашал, – резко произнес Лаврентьев, ткнув в сторону Салатсупа. – И вообще, чтобы в полку духа его не было. В гостях порядочные люди гранатой не размахивают.

– Хорошо, он подождет на улице, – миролюбиво согласился Кара-Огай.

Он уселся, стул жалобно затрещал. Лидер заерзал, положил огромные руки на карту республики, расстеленную на столе.

– Ох уж эти журналисты, никакого спасения от них нет, – произнес Лидер, будто и не было неприятной заминки. – Ну что, Евгений Иванович, не надоело тебе одному?

– Я не один – с полком.

Поздоровавшись, тихо вошел начальник штаба.

– С полком, в котором ни одного солдата? – усмехнулся Кара-Огай.

– Не я принимал идиотское решение набирать войско из твоих земляков. Паршивые, я тебе скажу, из них солдаты. И хорошо, что разбежались. Вот только все сортиры, извини, дорогой Кара-Огай, загадили. Убрать после них некому.

– Сговоримся, Евгений Иванович, верну твоих солдат, и сортиры тебе почистят, и из полка игрушку сделают. Многие ведь у меня в боевиках. В стране, где воюют, нейтралитет невозможен. Или на той стороне, или на этой. Два ястреба сойдутся – гусю погибель. А вместе быть – рекой быть, порознь – ручейками, – глубокомысленно изрек Лидер.

Лаврентьев отмахнулся:

– Знаю, знаю все твои побасенки: «Хлопок в ладони – дело двух рук», «Сплоченных баранов и волк испугается», «Одинокий конь не напылит, а напылит – не станет знаменит»… Опять тянешь меня в свои авантюры?

– Это не авантюры, это народное движение, революция за справедливость, и потому слово «справедливость» написано на моих боевых машинах.

– Остановись, уважаемый Кара-Огай. Давай по делу.

– Хорошо. Ты отказался разговаривать с моим полевым командиром, давай тогда говорить один на один.

– Гена, оставь нас.

Штукин поднялся и вышел.

Кара-Огай осмотрелся, будто впервые был в этом помещении.

– Мешки с песком… Белого света не видишь, воды нет, наверное, и постирать одежду некому.

– Это твои болваны позавчера штурм здесь устроили? – пропустив мимо ушей тираду, спросил Лаврентьев, хотя прекрасно знал, кто это был.

– Ведь сам знаешь, что не мои, зачем спрашиваешь?

– Жду, когда твои полезут. Может, сам скажешь, предупредишь?

– Резкий ты, нетерпеливый, горячий. Это все по молодости хочешь все знать. Но сразу не бывает, потерпеть надо, разобраться. А чему быть, Женя, того не миновать…. Вот война началась. Но чтобы быстро победить, нужно оружие. У нас его мало. У наших врагов тоже. Оружие есть у тебя. Ты давать его не хочешь. Тогда кто-то из нас должен его забрать. Причем забрать первым, чтоб победить и побыстрей закончить войну. Я пока правильно все говорю?

– Пока да.

– Твои начальники приказали тебе не вмешиваться: пусть эти черные друг друга колотят, лупят, это не наше дело. Так? А кто победит – с тем и говорить будем. Так? Но начальники твои не понимают, что, когда идет война, оружие рано или поздно стреляет. Правильно? Рано или поздно ты втянешься в эту войну. Трех

офицеров убили у тебя? Еще убьют… Я тебе, подполковник, скажу по секрету, что фундаменталисты получили из-за границы крупную партию оружия, Сабатин-Шах договорился… Теперь они начнут наступать, и первое, что сделают, – захватят полк, а потом всю твою технику бросят на нас. Про этот план сообщил наш источник… Женя, дай мне три танка как бы напрокат. Ты в обиде не останешься, и клянусь, все останется между нами…

– Клялся медведь в берлоге не бздеть.

– Я прогоню из города фундиков, – проглотив реплику командира, продолжил Кара-Огай, имея в виду своих заклятых врагов – фундаменталистов, – и возвращу машины в полк. А устроим все так, будто технику угнали… Согласен?

– А теперь слушай, что я скажу. – Лаврентьев мрачно усмехнулся. – Как говорят у нас в народе, моя твоя не понимай. Но тебе по старой дружбе поясню: всех, кто полезет в мой полк, я прикажу беспощадно уничтожать из всех видов оружия. Невзирая на нейтралитет. Патронов у меня хватит. Технику ни тебе, ни твоим лучшим друзьям не дам, можешь им передать, потому что твои идиоты зальют кровью всю республику и порушат то, что еще не порушили. Лично я этого не хочу. Только не обижайся, потому что к идиотам Сабатин-Шаха это относится в еще большей степени…

– Смотри, подполковник, ведь пожалеешь. Ты не знаешь Сабатина. Он впереди боевиков погонит женщин и детей. И ты не сможешь стрелять.

– А если против тебя погонит?

– Против меня не станет. Бесполезно. Знает, что мы не остановимся.

После отъезда делегации Лаврентьев вызвал начальника разведки – худого капитана с оттопыренными ушами.

– Козлов, тебе известно, что фундики готовят штурм?

– Они уже неделю его готовят. Никак не могут между собой договориться, – ответил капитан, потерев пятерней ухо. Оно сразу покраснело.

– Кара-Огай предупредил: Сабатин-Шах получил партию оружия из-за границы, готовит набег на полк.

– Оружия не так много… Наш источник сообщил, что около двухсот автоматов, десяток гранатометов. Боеприпасов несколько десятков ящиков…

Потом Лаврентьев приказал вызвать офицеров штаба. Они собрались в пропыленном тактическом классе с картами на стенах, зашторенными темными занавесами, макетом местности, на котором застыла посеревшая от времени река и рыжая долина. Расселись за видавшими виды столами.

Выступление Лаврентьева было коротким и емким.

– По имеющимся разведданным, подтвержденным Кара-Огаем, Сабатин-Шах готовит генеральный штурм полка. В связи с этим начальнику штаба обеспечить усиление выездного караула, охраняющего артиллерийские склады. Призвать для выполнения этой задачи офицеров и прапорщиков запаса, проживающих в городе. В случае явного нападения действовать в соответствии с Уставом гарнизонной и караульной служб, исключая предварительные команды «Стой, кто идет?» и тому подобные. Предупредительный выстрел делать в живот, очередной – в лоб…

После совещания Лаврентьев вернулся в кабинет. Его ждал прапорщик с кипой телеграмм, кодограмм, приказов…

– На кой черт мне сейчас эта галиматья? – выругался командир, но все же бегло просмотрел бумаги. Речь в них шла об экономии горючего, которое уже месяц не подвозили, о котловом довольствии, о повышении контроля за прикухонным хозяйством, которого давно и в помине не было. – Хоть бы спросили, не помочь ли чем, товарищ подполковник? – рявкнул он так, что прапорщик вздрогнул и почувствовал себя виноватым. – Офицеры поизносились, по два года таскают одну «песчанку», глядеть стыдно!.. На, уноси все. – Он небрежно расписался и отодвинул бумаги.

– Там журналисты эти стоят. Просятся на прием.

Лаврентьев понял, что не отвертеться.

– Скажи, пусть идут.

Понимая, что с журналистами бороться бесполезно, Лаврентьев научился легко и изящно давать интервью на любые темы. Впрочем, корреспонденты интересовались одним и тем же: «секретами боевого мастерства», «слагаемыми успеха в социалистическом соревновании», «комплексным подходом в воспитательной работе». И, в душе поражаясь себе, Лаврентьев бойко нес околесицу, насыщая ее обязательными оборотами: «личный вклад», «чувство ответственности, партийной принципиальности» и энергичными глаголами совершенного вида. Корреспонденты всегда серьезно и старательно записывали этот треп. А когда пришла очередь японского телевидения, надо было открывать рот уже перед телекамерой, мало того, вести иностранцев домой, демонстрировать офицерский уют. И тут начальство обнаружило, что у лучшего офицера не все в порядке с зубами – они попросту отсутствовали: какие потерял в драках, какие сами выпали от плохой воды и училищной кормежки. Если с квартирным интерьером вопрос решили по-военному быстро, то с зубами было сложнее: полковому дантисту это оказалось не под силу. И повезли Лаврентьева в столицу, где по высочайшему приказанию ему за два дня вставили сразу пять протезов.

Вспомнив эту историю, Евгений Иванович мысленно поблагодарил представителей Страны восходящего солнца. Вставленные зубы стояли до сих пор, нерушимо, как в былые времена Союз.

Оглушительным звонком взорвался городской телефон. Сквозь треск Лаврентьев разобрал, что на другом конце провода некто из центральной газеты «Воскресное чтиво». Мужчина просил дать «блицэксклюзивное» интервью.

– Не имею права! – отчеканил Лаврентьев.

– Почему? – протрещало в трубке.

– Сначала надо все согласовать и испросить разрешения у Абдуллохана, Абдуливана, Бурбы-Марбарана, Бурбы-Нахера, Салатсупа, Салатзалупа…

На другом конце провода озадаченно замолкли, и командир положил трубку.

«Хоть бы разок потрепаться о женщинах, о поэзии, о хорошей выпивке, – подумал Лаврентьев. – Спросили бы о сынишке, который живет за тридевять земель от непутевого папаши…» Вспомнив о жене, Евгений Иванович помрачнел. Он знал, что их отношения уже никогда не восстановятся, осталось только саднящее чувство – то ли досады, то ли обиды. В мыслях он называл ее актрисой притворного жанра. Она была хороша, но только для столичной жизни. Родила сына – и, по сути, отняла его. И вот эту боль нельзя было ни излечить, ни смягчить…

Дверь скрипнула. Появилась американка, за ней – оператор с камерой и штативом.

– К вам можно? – спросил он.

– Заходи, – пригласил Лаврентьев.

Оба были в джинсах. Парень – в легких кроссовках, девушка – в тяжелых ботинках со шнуровкой. Похоже, они давно не посещали баню. «Ее отмыть – и ничего будет», – подумал Лаврентьев о смуглянке.

– Так откуда вы?

– Телекомпания Си-эн-эн. Корреспондент Фывап Ролджэ и я, оператор Федор Сидоров.

– То, что ты Сидоров, я верю. А вот что это за имя такое – Фывап? Где-то слышал, убей, не помню!

Федя перевел вопрос, выслушал ответ девицы.

– Она говорит, что у нее очень редкое индейское имя. Ее папа – спортивный обозреватель, а мама – индианка из племени ирокезов. Она и захотела дать ей такое имя. В переводе оно обозначает «Бегущая по косогору вслед за уходящим весенним солнцем».

– Скажите, – продолжил перевод Сидоров, – вот Фывап интересуется, в свою очередь, происхождением вашей фамилии.

Лаврентьев наморщил лоб.

– Пожалуй, приблизительно можно перевести так: «Лист с лаврового дерева, радующий глаз чемпиона и плоть чревоугодника».

Фывап добросовестно записала ответ в блокноте.

– Какие вопросы вас интересуют? – спросил Лаврентьев.

– О, прежде всего, как вы оцениваете ситуацию, в которой оказался ваш полк? Возможно ли ваше участие в вооруженном конфликте? На Западе считают, что Россия скоро увязнет в «новом Афганистане».

– Мое дело – воевать, когда прикажут. По поводу же нынешней ситуации… Что вы хотите услышать? Давайте так: сейчас я сяду на трехметровую кучу стреляных гильз с лицом, обожженным порохом и южным солнцем. В руках у меня – почерневший от копоти автомат, ствол в дырках, и я кричу: «Патроны, быстрей тащите патроны!» И вот как бы в перерыве я обращаюсь к американским телезрителям: «Господа, обстановка крайне тяжелая… Ко всему, что вы видите, прибавить нечего… Может быть, это мое последнее интервью…»

Выслушав перевод, девушка всплеснула руками и заразительно рассмеялась:

– It’s all right!

– Давай договоримся так, – по-прежнему с невозмутимым лицом продолжил Лаврентьев. – Поживете здесь, посмотрите, с офицерами встретитесь, а потом и поговорим. А лучше вам здесь не засиживаться. Опасно.

Тут, к счастью, совсем рядом началась стрельба. Корреспонденты выскочили в коридор. Очереди доносились со стороны тюрьмы, которая находилась напротив полка, через дорогу.

Хлопнула входная дверь. Появились Штукин и Костя Разночинец. Они держали носилки, на которых лежал бездыханный солдат. Поравнявшись с командиром, офицеры аккуратно положили свою ношу на пол.

– Что с ним? – спросил Лаврентьев.

– Не знаю, – ответил Костя. – Нашли на стадионе… Кажется, дышит, – склонившись над лежащим, добавил он.

– Черт, единственного солдата бы не загубить!

– Чемоданаев! – позвал Штукин и осторожно потряс солдата за плечо.

– Осторожно, не повредите! – предупредил Костя.

Солдат приоткрыл глаза, мутно посмотрел на столпившихся вокруг него офицеров. Оператор Сидоров протиснулся к ним, торопливо настроил камеру, включил лампу, стал суетливо снимать.

Чемоданаев, кряхтя, сел, стал тереть глаза, потом, так и не вставая, пояснил собравшимся:

– Закемарил немножко.

– Снять бы с тебя штаны да выпороть как следует, – сурово заметил Лаврентьев.

– Сиди здесь, урюк, и не высовывайся! – прошипел начальник штаба и показал Чемоданаеву кулак.

Доктор же спросил у солдата, обедал ли он. Оказалось – нет. И Костя повел его с собой…

Продолжающаяся пальба радовала журналистов. Они возбудились, стали кричать, что непременно должны отправиться на съемки.

– Имейте в виду, охрану вам не дам, – предупредил Лаврентьев.

– Не надо! – тут же отказался оператор Сидоров, заканчивая складывать штатив.

– Идите, идите, пусть вас убьют, – по-доброму напутствовал Евгений Иванович.

Увы, они уже не слышали опытного командира, пулей вылетели за дверь. Затихая, простучали по коридору тяжелые ботинки индианки Фывап Ролджэ. Лаврентьев потребовал к себе начальника разведки капитана Козлова.

– Кто там шмаляет? – спросил он, когда Козлов безмолвно вырос перед ним.

– Это Кара-Огай со своими, – потерев ухо, незамедлительно ответил капитан. Он всегда тер ухо, когда докладывал разведданные.

* * *

Утром в учреждении ЯТ 9/08, в обиходе «крытая», ничто не предвещало невероятных событий. Начальник тюрьмы товарищ Угурузов, собрав заместителей, напомнил о необходимости высокой бдительности: в городе участились стычки между вооруженными группировками.

Отпустив заместителей, Угурузов решил пройтись по территории. По распорядку рабочего дня у него сегодня значился прием граждан – из категории родственников и знакомых осужденных. Но в последнее время посетителей почти не объявлялось.

Откровенно говоря, на душе Угурузова было мрачно. Когда по городу шатается масса вооруженных бандитов и милиция ничего с ними сделать не может, соответствующие анархические настроения проникают и в учреждение. Контролеры уже откровенно опасались арестантов. В производственной зоне, где собирали трансформаторы, давно стояла тишина: не было комплектующих. Да если б и завезли, последняя «шестерка» демонстративно отказалась бы работать. А еще Угурузов боялся Кара-Огая. В свое время он сиживал здесь по первому сроку. Это недавнее открытие весьма неприятно поразило начальника.

Угурузов дошел до розария и лимонария – его гордости. Дальше дорога вела в производственную зону.

Угурузов снял с ветки лимон, спрятал его в карман. Хотел сорвать и розу, но вспомнил, что не взял с собой ножик. «Успеется», – подумал он. Начальник тюрьмы каждый день приносил домой лимон и розу для жены. Это давно стало

доброй семейной традицией. И если он по какой-то причине забывал о ней, жена обижалась и непременно спрашивала: «Эразм, ты меня уже не любишь?» И он, человек-кремень, с холодным умом и горячим сердцем, сразу терялся.

Менее всего Угурузову хотелось встречаться сегодня с осужденными. Он ненавидел этих униженных, ярых, озлобленных людей так же, как и они ненавидели его: люто и на всю жизнь.

Общению с арестантами Угурузов всегда предпочитал, если можно так выразиться, общение со свиньями. В былые времена на хоздворе жизнерадостно хрюкали более сотни голов. Эти животные странным образом походили на людей: так же бесновались, когда запаздывала положенная кормежка, так же оттесняли от корыта слабых и больных, так же безобразно и мерзко предавались праздности и похоти, так же были ленивы и нечистоплотны.

«У них даже глаза похожи на человеческие, – подумал Угурузов, зайдя в свинарник. – Рыжеватые ресницы, смотрят подозрительно…» Хрюшки повернули к нему сырые розовые пятачки и примолкли – узнали.

– Не бойтесь, не бойтесь, мордашки, я вас не съем, – засюсюкал начальник тюрьмы и стал чесать ближайшую свиноматку. Она блаженно захрюкала.

– А где выводок? – строго спросил он у вытянувшегося в струнку зэка-свинаря. – Вчера еще был выводок, пятеро поросят! – Угурузов посмотрел тяжело, с угрозой.

– Она их сожрала, клянусь матерью, сам видел!.. – стал каяться свинарь.

– А может, ты сожрал, а на животное сваливаешь, поганец?

– Я мусульманин, гражданин начальник, не ем свинину.

– Не ешь, как же! Все вы сейчас едите, потому что больше нечего.

Начальник тюрьмы не грешил против истины. Запасы продуктов в тюрьме подходили к концу, исчерпали уже весь НЗ, держались только на своем хозяйстве.

– За что сидишь? – грозно спросил Угурузов.

– Поджег дом соседа.

– Почему?

– Он был плохой человек.

– И что дальше?

– Он тоже сгорел.

– Люди – звери, – вздохнул Угурузов и задумался…

Последнее время он читал передовые общественные журналы и много размышлял. Недавно его поразила фраза: «Революция всегда пожирает своих детей». В ту минуту он в волнении вскочил и стал ходить по кабинету. «Люди смешны в своих попытках изменить и улучшить мир, – думал он. – Так всегда: сначала эти чистоплюи демократические кричат о свободе, а как дорвутся до власти – и давай народ сверх всякой меры в тюрьмы совать. А мы всегда и во все времена – тюремщики, душители, сатрапы. Жупелы… Как это все надоело! – с тоской подумал Угурузов. – Скорей бы на пенсию».

– Возьми красную краску, – сказал Угурузов свинарю, кивнув на призадумавшееся животное, – и напиши на ее боку слово «революция». И чтоб без ошибок!

В жилую зону Угурузов решил не ходить. А может, зря не пошел. Потому что если б он задержался возле небезызвестной ему 113-й камеры, то мог бы много чего интересного услышать о себе. Она была самой обычной, окна ее уродовали обыкновенные решетки в мелкую сетку, на которой неизвестно чего наслоилось больше – краски или жирного налета, этого материально осязаемого тюремного запаха, смеси паров баланды и затхлого человечьего духа.

Здесь сидел главный авторитет тюрьмы Тарантул, который первый срок получил еще при Сталине. С перестройкой двинулись на тюрьму вши. Перед тем как уйти в мир иной, Тарантул на прощание прошептал белесыми губами: «Последнюю

вошь я видел в 1959-м. Мы посадили ее в банку и кормили салом. Но все равно она издохла». После сказанного Тарантула увезли в санчасть, где он тоже издох.

Арестанты давно уже не опасались, что их подслушают, травили во весь голос, в духе времени. В камере было пятеро: новоявленный вор в законе Вулдырь, Консенсус, Хамро, а также Косматый и его шестерка Сика, которых перевели в 113-ю по общему согласию камеры и зама начальника по режиму.

В камере зависла смердящая жара, даже мухи не летали, а лениво ползали. Консенсус пытался было нарушить тишину:

– Интересно, как там, в обиженке, Сиру посвящение сделали? Наверное, как новенького у параши определили…

Но тему не поддержали. Консенсус нервно хохотнул и нарочито весело стал рассказывать истории о том, как уходил с двенадцатого этажа по балконам, как развлекался в гостинице с «ансамблем» девочек-«сосулек», как угнал у ментов патрульную машину…

В конце концов не выдержал Вулдырь:

– Хватит парашу пускать!

Он был не в настроении. Косматый раздражал его тупым безразличием на лице, и Вулдырь уже пожалел, что попросил перевести его в камеру. Но больше Вулдыря беспокоило то, что он упорол косяк с Сирегой. Опустить человека – дело нешуточное, и ему, как пахану камеры, могут сделать предъяву – по закону или нет поступили. Но самый крупный косяк, за который мочат тут же, без разборки, – это за самозванство. Объявив себя вором в законе, Вулдырь рисковал по-крупному. Но Тарантул и Сосо, которые, по легенде, его «короновали», – на том свете. Первый помер от старости, второго подставили, организовав побег и застрелив при попытке к бегству… А тут Вулдырю передали, что авторитет по кличке Боксер из 206-й камеры выражал сильное сомнение в коронации, потому как сам сидел в свое время в ашхабадской зоне, где тянули срок Вулдырь, Тарантул и Сосо, и ничего об этом не слышал. Но официальной предъявы пока не было. Еще Вулдырь знал, что Боксер отписал маляву в ашхабадское ИТУ и теперь ждал оказии, чтобы ее передать. Одно утешение – времена наступили лихие и связь между зонами почти прекратилась…

…И только Хамро был сегодня умиротворенным, спокойным и даже счастливым. Во-первых, до конца срока ему оставалось уже меньше полугода. Во-вторых, ему приснился чудный светлый сон из детства. Под его обаянием он и находился, не обращая внимания на разборки и ссоры. Родной кишлак, мама, глядящая на него из-под цветастого платка лучистыми добрыми глазами, отец, сидящий на корточках перед костром. А над костром, на треноге, – казан с пловом.

А для Сиреги время отстучало свои первые горькие часы. Он вошел в камеру, перепачканный тушью: насильно вытатуированная черная точка на лбу – красноречивое клеймо. Обитатели, пять или шесть человек, все поняли, каждый из них в свое время прошел через такой же слом, разрушение… Никто не выразил ему сочувствия, наоборот, показалось, что все испытали удовлетворение – не столь злорадное, как успокоительное: «Вишь, еще один такой же, как мы…»

Главпетух «Светка» после долгой паузы произнес:

– Ты бы лицо помыл, дружбан.

Сирега даже не посмотрел на него. И от новенького отстали…

Два или три дня он почти не вставал, пролежал на шконке, бездумно уставившись в потолок, не отвечал на вопросы, отказывался от еды. Одна и та же мысль возвращалась к нему: удавиться. Но даже на это у него не хватало энергии. Тупая депрессия захватила его, временами казалось, что он сходит с ума.

– Давай подсаживайся, у меня третюшки кок есть, зачифирим!

Сирега не стал упрашивать себя, присел на койку, протянул руку.

– Сирега.

– А я Степан… Я все ждал, пока ты оклемаешься. Сразу понял, что ты не чета этим чушкам…

Потом они пили горький и черный, как деготь, чай, вытирали обильный пот мокрыми полотенцами: ловили немудреный зэковский кайф. Остальные ждали свои нифеля – спитую заварку.

Впервые за эти дни Сирега почувствовал еще не облегчение, но успокоение. С ним случилось то, чего хуже смерти боялся каждый зэк, – он угодил на самое дно, свалился в пропасть, откуда по тюремным законам выбраться невозможно, как вообще невозможно возвышение от низшей касты к высшей.

«Будет и на нашей улице праздник», – говорил Степан-Светка и умолкал надолго. В глазах его бесновалась ненависть.

В детстве одной из немногих прочитанных Сирегой книг был «Граф Монте-Кристо». И вот теперь смысл жизни романтического героя стал его идеей фикс. Он освободится и не успокоится до тех пор, пока его обидчики не будут наказаны. Нет, он не будет забивать голову благородными вывертами и усложнять мщение, как это делал граф. Сирега по-простому будет брать на штык, на шило, пускать, как говорят воры, «красные платочки», прошибать головы. С этой сладкой мыслью Сирега засыпал и видел рыхлые черно-белые болезненные сны, которые наутро никак не мог восстановить в памяти.

В обеденный час где-то рядом началась бешеная пальба. Арестанты давно привыкли к городским разборкам, и звуки эти, безусловно, никак не могли влиять на аппетит. Но выстрелы зазвучали все ближе, уже на территории тюрьмы. Своим обостренным в замкнутой среде слухом заключенные определили, что стреляли в районе вышки, слева от главных ворот. В ответ загрохотало буквально со всех сторон, послышался дикий крик, потом многоголосый рев, грохот, будто десятки молотков одновременно забарабанили по железу.

– Ворота, ворота рушат! – радостно заорали в коридоре.

– Наши пришли! – донеслось из камеры.

И единая счастливая догадка, озарение, выраженное в крике, вмиг получило тысячеголосую поддержку. Никто толком не знал, что за наши, кто они, – главным было, что пришли освобождать. Автоматные очереди уже гремели во дворе тюрьмы. Ошалело побежал по коридору вертухай Саня, уронил фуражку.

Вслед заулюлюкали, кто-то из баландеров подставил Сане ножку, и он рухнул под общий смех, вскочил, добежал до конца коридора, где был выход, повернул обратно. Закрыто!

– Ребятки, ребятки, я же вас всегда выручал, – бормотал он трясущимися губами. – Защитите, ребятушки!

– Камеры открывай, ментяра!

– Чо стоишь, беги за ключами, морда протокольная!

– Живей, дыхалка гнилая! Шевели колесами! – неслось из камер.

Лобко заметался, позабыв от страха, где ключи, ринулся в дежурку. Его напарник, прапорщик, торопливо переодевался в «гражданку».

– Открывай быстро, если жить хочешь! – прохрипел Саня.

Прапорщик наскоро застегнул штаны, открыл решетчатую дверь.

– Переодевайся живо – и смываемся! – пробормотал он.

– Все равно поймают. Поздно! Пошли камеры открывать, – лаконично и сурово подвел итог службы младший сержант Лобко.

– Ты с ума сошел? – выпучил глаза прапорщик. Более он ничего не успел сказать, потому что в здание уже вломились боевики. К сожалению, Санин напарник не успел снять рубашку с погонами.

– Эй, прапор, открывай живо! – заорали ворвавшиеся, потрясая решетчатую дверь.

Прапорщик безмолвно открыл, посторонился.

– Ну что, мучители трудового народа? Сейчас мы вас всех шлепнем! – зарычал парень в новенькой камуфляжной форме.

– Пусть сначала камеры откроет!

Со связками ключей и в сопровождении вооруженной толпы контролеры пошли открывать двери. В коридоре и в камерах царило буйство и ликование. Железные двери, цементный пол дрожали, как при землетрясении.

Прапорщик поспешил на второй этаж, а Саня уже открыл первую дверь.

– Выходи! Свобода! – с пафосом провозгласил чернобородый боевик, уперев руки в бока.

Лобко еле успел отскочить. Дверь с грохотом отлетела, ударилась в стену, зэки высыпали в коридор, бросились к освободителям, те снисходительно позволяли себя обнимать, хлопали по плечам одуревших, счастливо озирающихся людей. Саня же путался в связке ключей, он взмок и торопился побыстрей закончить эту невероятную миссию. Как учили, по порядку: 111-я, 112-я, 113-я…

Из-за широких камуфляжных спин вдруг вынырнули две девицы. Обе в приталенных защитных комбинезонах, черных сапожках. Одна – яркая блондинка, другая – восточного типа, совсем юная девчонка. Светловолосая бесцеремонно оттолкнула контролера Лобко, сказала: «Свали!», вскинула снайперскую винтовку и выстрелом сшибла очередной замок. Боевики заржали:

– Браво, Инга! А теперь продырявь этого пузыря!

– Пусть живет, плодит толстячков вместе со своей самкой! – с резким акцентом произнесла она.

Первым из 113-й вышел Вулдырь. Он пытался еще сохранить важность, но чувства пересилили, рот разъехался в ухмылке. За ним с ревом вылетел Косматый, помчался по коридору. Выглянул испуганно, как мышь из норы, Сика, принюхался, осмотрелся. Консенсус, повизгивая, с объятиями бросился к уже освобожденным арестантам. Последним вышел из 113-й Хамро, счастливо зажмурился, пробормотал:

– Надо же… А я еще на полгодика рассчитывал.

Тюрьма выла, ликовала; ошалевшие восторженные люди в черных робах срывали ненавистные бирки с груди, обнимались, плакали, прыгали, хлопали друг друга по спинам… Черная масса хлынула во двор, в административное здание, медчасть, кабинеты начальства, оперчасть, переворачивая все на своем пути.

Боевики взирали на разудалый кураж с добродушными ухмылками. Зэки рыскали по двору в поисках поживы.

Офицеров и прапорщиков во главе с полковником обезоружили и построили в одну шеренгу. Два рослых боевика охраняли их.

На крыльцо в сопровождении охраны и приближенных вышел Кара-Огай. Толпа встретила его восторженным ревом:

– Кара-Огай! Кара-Огай!

Лидер властно поднял руку, призывая к тишине. Толпа мгновенно утихла, внимая кряжистому старику с хищным носом, седой бородой, в необмятой камуфляжной форме и с ярко-коричневой кобурой на поясе. Легендарный человек революции, Лидер движения, воплощенный символ власти, жестокости и справедливости.

– Ну что, канальи, истосковались по свободе? – неожиданно весело спросил Кара-Огай. Колючий взгляд из-под кустов-бровей скользнул по толпе, привычно охватив ее сразу и подчинив себе. Все ждали прочувствованной патетической речи о крахе тоталитарной системы. Но он заговорил о другом:

– Братья, вы, конечно, знаете, что я тоже сидел в этой тюрьме, хлебал, как и вы, баланду и мечтал о свободе…

– Знаем, Кара-Огай!

– Ты наш брат, Кара-Огай! – послышалось из толпы.

– Я понимаю вашу радость, – продолжил Лидер. – Я знаю, что среди вас есть безвинно осужденные. Но сейчас не время разбираться. Республика в опасности.

Наши враги убивают безвинных людей, сеют зло, террор, сжигают дома. Братья, я дал вам свободу. Но за нее еще надо побороться. Тот, кто готов вступить в ряды нашего Фронта и бороться с оружием в руках, – шаг вперед! Записываться у главных ворот.

Тут на административном крыльце возникла суетливая заминка. Из-за мощных спин охранников протиснулся сухой желтолицый старик. Завидев его, зэки притихли.

– Да это же Тарантул! – прозвучал в мертвой тишине растерянный голос.

– Тарантул!.. Гадом буду, это Тарантул! – взвизгнул кто-то. – С того света… Здравствуй, дедушка!

Да, это был собственной персоной вор в законе Тарантул, живой и невредимый и еще более уверенный в себе.

– Да, братва, это я! Наше вам… – торжествующе пророкотал он и, насладившись эффектом, продолжил: – А вы думали, я в лазарете свою последнюю «путевку» получил и пузыри пускаю в ящике? Рановато списали, мы еще покантуемся! Я тут осмотрелся, – кивнул воскресший кумир на административное здание, – и кой-чего нашел интересное.

С этими словами он стал бросать в толпу кипы паспортов. Взметнулись руки, зэки хватали документы, открывали, зачитывали фамилии.

– Ребята, это наши ксивы!

– Урюкан!.. Ухоедов!.. Жагысакыпов!.. Бырбюк!.. Дроссельшнапс!.. Жестоков!.. Неспасибянц!.. Разбирай!

И рванула братия – возня, суета и давка.

– Кара-Огай! – Сквозь толпу протискивался Боксер. Он еще не видел поспешного бегства Вулдыря, но воровское чутье говорило ему, что пора заявлять о себе, подыматься над толпой. – Кара-Огай, а что с этими делать будем? – Он показал на неровную шеренгу сотрудников учреждения ЯТ 9/08.

– Судить их надо! – прозвучал над толпой трубный голос, могучий и роковой, словно самого архангела Гавриила.

– Расстрелять всех! – крикнул еще кто-то.

– В камеры их! – требовали менее кровожадные.

И в эту судную минуту Кара-Огай вновь повелительно поднял руку. Ропот сразу утих.

– Нет, казнить мы их не будем. Не для того мы боролись за идеалы свободы, чтобы теперь бесцельно проливать кровь. Мы не палачи. Они, – Лидер царственным жестом указал на понурых людей в форме, – конечно, глубоко виноваты перед народом. Но и они подневольные, еще более подневольные, чем вы, бывшие заключенные. Их жизнь – это вечная тюрьма. Для вас же тюрьма была только временным домом… Мы их простим. А тюрьма еще понадобится для наших врагов, – неожиданно заключил Лидер.

…Через полчаса у Лаврентьева зазвонил телефон. В трубке послышался глуховатый голос:

– Ну, как тебе моя гуманитарная акция?

– Нет предела восхищению, – ответил командир, узнав Кара-Огая. – Как говорят у нас, горбатого и могила не исправит… Тебе мало своих бандитов, так ты еще этих выпустил! Они же весь город на уши поставят.

– Каждый человек, Женя, имеет право на свободу, – наставительно сказал Лидер. – Эти бывшие узники совести…

– Без совести, – уточнил Лаврентьев. – Дураку воля – что умному доля: сам себя сгубит.

* * *

Как всегда утром, доктор Шрамм начал обход. В конце коридора, возле лестницы, стояла койка, где, свернувшись калачиком, лежала пресловутая Малакина. Иосиф Георгиевич поднял одеяло, обнажив желтое старушечье тело с выпирающими ребрами.

Потом в таком же темпе доктор со свитой обошел второй этаж. Лавируя между койками, из-за недостатка места выставленными в коридорах, Шрамм высказал замечания по поводу плохой уборки помещений.

После обхода стал вызывать пациентов. Начал Шрамм с больного со странной фамилией Шумовой. Он действительно соответствовал ей. Больной любил бегать по коридорам, изображая мотоцикл, урчал, пускал пузыри и даже катал на спине своих товарищей по палате. С прогрессированием болезни он стал необычайно прожорливым, нагло воровал пайки у больных, растолстел и больше не бегал, а лежал или сидел на кровати.

– Ну что, голубчик? – Доктор глянул на больного поверх очков. – Как вы себя чувствуете?

– Хорошо, – осклабился Шумовой и подался вперед.

– Что-то вы растолстели, милый друг. Перестали двигаться, все в кровати валяетесь. Раньше хоть бегали, – укоризненно заметил доктор.

При последних словах Шумового будто подменили, он оживился, радостно заурчал:

– Ур-р, ур-р-р-р…

– Ну, полноте, полноте, голубчик. Мне никуда ехать не надо…

Больного Карима никогда не называли по фамилии, потому что она была сложна и непроизносима.

– Здравствуй, Карим. Заходи, садись, – приветливо начал Иосиф Георгиевич.

Больной молча сел, уставился в одну точку.

– Как здоровье, как чувствуешь себя?

– Спасибо, – буркнул Карим и сплюнул на пол. – Все мерзко.

– А вот это некрасиво, – мягко заметил доктор. – Ведь кому-то придется убирать.

– Будто не знаете кому, – резонно парировал больной.

– Я вижу, ты сегодня не в настроении. А мне просто хотелось пообщаться с тобой.

– Ну? – выразил нетерпение Карим.

– Думаешь ли ты о самоубийстве?

Карим отвел взгляд.

– А о чем ты чаще всего думаешь?

– Ну, о чем… О всем. О том, что надоело все.

– Расскажи о своих мыслях, освободись от них.

Карим хмыкнул, посмотрел холодным взглядом.

– Была история, доктор. Одна старуха пригласила родственников мужа. Выставила на стол голубцы. Хорошие, большие. Те все поели, понравилось. «А где же наш Рафик?» – спрашивают. А она отвечает: «А вы его только что съели. Я из него голубцы сделала». И показала остатки.

Доктора затошнило. «Ну и гадость, однако!»

– Тебе не надо забивать голову такими историями, – наставительно сказал он и тут же подумал, что запрет, насильное вытеснение вызовут обратный эффект. Тут же возникнут навязчивые воспоминания. – Ты часто вспоминаешь эту

историю?

– Каждый раз, когда вас вижу… Я еще много таких историй знаю. Но с вами это уже не связано.

Шрамм стряхнул горькие мысли, сосредоточился.

– В детстве всем нам при существующей тогда системе внушали категорический императив, безусловное жизненное кредо, которое можно низвести до простейшей формулы: «существуя – сгорать». Сгорать за идеи партии…

– Как Пиросмани? – холодно уточнил Карим.

– Что? – не понял Шрамм. – Ах, вы об этом…

Карим имел в виду больного по кличке Пиросмани, который по своей приверженности к пиромании поджигал все, что могло гореть, – как только ухитрялся достать спички.

– У него другое: «существуя – сжигать», – сдержанно пошутил доктор. – Но мы, кажется, отвлеклись, милый друг.

– У меня все мысли интересные, – холодно предупредил Карим. – Просто они никому не нужны. А не нужны они потому, что они правильные. Поэтому я здесь, и я одинок… Если б мне дали развернуться, выделили в мое распоряжение хотя бы сто человек, я бы смог перевернуть человеческое сознание.

Когда Аделаида привела очередного больного, доктор сказал:

– Предыдущему пропишите усиленную дозу пирогенала.

– Он вроде бы пока ничего, спокойный, – аккуратно заметила она.

– Он уже на подходе, – небрежно ответил Шрамм.

Следующему больному, Автандилу Цуладзе, Шрамм задумал устроить «прочистку мозга». Чем больше «сажи», тем настойчивее надо чистить психические тягостные воспоминания. У каждого шизофреника есть вытесненные в бессознательное и рвущиеся подспудно наружу аффективные переживания.

– Что вас беспокоит? – после «сеанса» спросил Иосиф Георгиевич. – Мне сказали, что вы мечетесь, ходите взад-вперед, будто не можете найти себе места.

– Здесь, доктор, действительно нет мне места. Мое место… далеко отсюда. И роль предначертана иная, а не та, что вы мне навязываете: валяться на кровати в вашей лечебнице. Вы маленький узурпатор, в ваших руках – жизни и судьбы.

– Оставим это, – как можно мягче попросил доктор, усмехнувшись про себя: «Еще один мессия».

– Оставим, – согласился Автандил.

– У вас не бывает смутных ощущений, позывов совершить нечто ужасное? Скажем, давным-давно вы пережили что-то тяжелое, ужасное, отвратительное, гадкое.

– Есть такое, – сразу же сознался Автандил.

– И какое же? – спросил доктор дружелюбно и заинтересованно.

– Мне хочется снять с вас золотые очки и раздавить их своим солдатским ботинком.

– За что?! – поразился доктор.

– За то, что после той встречи с вами меня рвало. Вы мне прописали какую-то гадость… Кстати, ботинки, которые мне выдали, мне тоже не нравятся. Их уже носил солдат из соседнего полка. Я это точно знаю. Он умер, а ботинки мне достались. Вы, наверное, хотите, чтобы он приходил ко мне по ночам и требовал вернуть их обратно?

– Фу, что вы понапридумали! – замахал руками доктор. – Конечно, они не совсем новые, но не с мертвого же. Я бы вам дал другие, уважаемый Автандил, но у меня нет. Честное слово. Такие трудности со снабжением, если б вы только знали.

– Меня это абсолютно не интересует. Нервнобольного такие аспекты не должны интересовать.

– Судя по вашим словам, вы имеете нестандартные жизненные ориентиры, цели… Ведь человек – не просто слабомыслящая клетчатка с выраженной функцией пожирания. Ведь, что бы ни говорили о смысле жизни, понятие сие вовсе не размыто. Франкл, бывший сторонник доктора Фрейда, после пребывания в концлагере вывел три группы ценностей: созидательные – когда ты радуешься своему труду; далее, удовлетворение от ощущения каждого мига жизни и способность к интенсивному переживанию в любом деле, ситуации и, наконец, счастье борьбы, преодоление трудностей, своих слабостей…

Неожиданно Автандил расхохотался.

– Идеалов нет, – выплеснул Цуладзе. – Отсутствие идеалов – вот идеал. Смысла жизни тоже нет. Его смысл – в отсутствии смысла. Все отрицает все. Это закон. Хотя законы тоже не нужны. Это хоть вам понятно? Ну ладно, – уже примирительно произнес Автандил и, похлопав доктора по плечу, сел на стул. – Недостаток ума еще ничего не означает…

– Ну а теперь послушайте меня. – Шрамм подался вперед, на губах его появилась саркастическая улыбка. Он стал говорить, словно отвешивая каждое слово: – Вы умрете в этих стенах. С возрастом ваша болезнь – паранойяльная шизофрения – будет прогрессировать. Вы сможете не без любопытства наблюдать у себя учащение аффективно-бредовых приступов, не менее интересны будут чередующиеся галлюцинации. Все более вы будете уходить, замыкаться в своем иллюзорном мире, в котором будете считать себя непризнанным гением, полководцем, а может, вождем индейцев.

И вдруг Автандил, слушавший молча, оскалил зубы, подскочил, будто подброшенный пружиной, молниеносно сорвал с докторского носа очки, потряс ими в воздухе, швырнул на пол и тут же с хрустом раздавил.

Иосиф Георгиевич закричал, замахал руками, но Автандил уже стоял счастливым истуканом, со скрещенными на груди руками.

На шум прибежала Аделаида Оскаровна с расширенными от ужаса глазами. Ее взору предстал задыхающийся от гнева доктор, он держал расплющенные очки, напоминавшие маленький сломанный велосипедик.

– В смирительную рубашку мерзавца! На сутки! И атропину ему в задницу! Или лучше пирогеналу – 1000 МПД!

Аделаида с трепетом выслушала этот крик, против обыкновения ничего не уточнила, выскочила из кабинета, коря себя за то, что оставила доктора наедине с больным. Через минуту появились дюжие санитары – братья Иван и Степан.

– Вязать, вязать его! – крикнул доктор, подслеповато щурясь. Без очков он сильно смахивал на вождя революции Л. Д. Троцкого.

Братья кивнули чугунными подбородками и, засучивая рукава, радостно набросились на больного.

Под вечер доктор неожиданно для себя напился. Он открыл шкаф, достал оттуда градуированный «пузатик» со спиртом, разбавил водой, залпом выпил и тут же захмелел. «Мои губы расползаются в дурашливую ухмылку, – подумал доктор и почувствовал, что на него кто-то пристально смотрит. – Черт побери, да это же Аделаида Оскаровна! Собственной персоной! Как это она вошла, ведь я дверь закрыл на ключ?» – пьяно удивился он.

– Иосиф Георгиевич, – молвила женщина, – я увидела, что у вас горит свет…

– И многозначительная пауза, – хохотнул доктор. – Какая же ты смешная!..

– Хотите, я вам принесу поужинать?

– Хочу, – сказал доктор.

Она приоткрыла дверь, и появился с подносом Юра – самый молоденький санитар. «Юра – сирота, ни квартиры, ни черта». Как показалось Иосифу

Георгиевичу, ужин был водружен на стол с излишней театральностью.

– Кушайте. Приятного аппетита, – сказала Аделаида Оскаровна.

– Какая-то вы сегодня не такая!

И действительно, даже с поправкой на пьяное преувеличение Ада была сегодня хороша. Она зачесала назад волосы, приоткрыв свои чудные маленькие ушки, крупно, но не броско подкрасила губы, навела глаза, которые, впрочем, по своей чувственной и энергетической силе в том не нуждались. И смотрела она тоже по-особенному: тревожно и вопросительно. Яркие пятна губ и глаз. Чужое, незнакомое лицо.

Не спросив разрешения, она сняла белый халат, впрочем, уже расстегнутый, бросила его на спинку стула, оставшись в коротком легком платье бледно-розового цвета. Доктор никогда не видел ее в платье – все время в безукоризненно белом халате. Необычайно привлекательное одеяние приоткрывало крупные круглые коленки и довольно тугие ляжки. «Ей, кажется, где-то около сорока», – подумал Иосиф Георгиевич, остановив взгляд на смелом вырезе на ее груди. Аделаиду сегодня явно подменили. «И сиськи у нее ничего, – с пьяной бесцеремонностью оценил доктор. – Ох уж эти белые халаты на женщинах! Один их вид стерилизует мужчин!» – еще более развязно заключил он.

Аделаида присела на край стула, свела коленки.

«Сейчас или никогда!..»

Он кашлянул, зажмурился, как кот, и бухнул:

– Раздевайся!

Когда он открыл глаза, Аделаида уже стояла и, глядя поверх его головы, расстегивала немногочисленные пуговки у себя на груди. Доктор еще раз зажмурился, дивясь силе своей власти, а когда вновь поднял веки, Аделаида стояла уже в одних чулках телесного цвета. Изящно поставив ногу на стул, она стянула сначала один чулок, затем так же неторопливо – второй. Доктор

зарделся. Ни одна женщина не устраивала ему стриптиза. И это неожиданное зрелище сильно взволновало его. Хмель не то чтобы прошел, а превратился в иное качественное состояние – подстегивающий допинг любви. Аделаида (да и она ли это?) смело и требовательно взяла доктора за руку, вытащила из рыхлого кресла, потом повернулась спиной, качнула полными бедрами, требовательно прошептала:

– Расстегни!

Иосиф Георгиевич торопливо, но и с торжественностью подчинился, дрожащими пальцами расстегнул крючочки, она подхватила опавший лифчик, бросила поверх платья.

«Высший пик мужественности для мужчины – это женщина, – спустя известное время расслабленно подумал доктор. – Именно так».

Потом они, сидя на кушетке со сведенными коленками, пили разбавленный спирт, пьянели, дурея от самой ситуации: они, коллеги, многие годы разделенные субординацией, ныне потеряли рассудок, стыд, жадно искали остроты ощущений, а может, просто спасались от одиночества.

К дверям несколько раз подходили дежурная медсестра и санитарка, прислушивались к смеху и искаженным алкоголем голосам, ошалело переглядывались, боясь произнести вслух страшную догадку: главврач и старшая медсестра, высоконравственные, безгрешные и добродетельные, обезумели. Иначе как было расценить животные стоны и крики?

Под утро, совершенно очумевшие и обессилевшие, Иосиф Георгиевич и Аделаида наконец уснули, тесно прижавшись друг к другу. Разбудили их громкие голоса и стук в дверь. Они вскочили, ошалело глянули друг на друга, опрометью бросились к одежде. Ада оделась первой, глянула на себя в зеркало, быстро поправила короткие волосы, достала косметичку, пожевала подкрашенными губами – для равномерного распределения помады по поверхности.

Она выскользнула, чуть не сбив с ног тщедушного больного, торчавшего под дверью. Ее каблучки надменно и уверенно простучали в коридоре. До вечера ждать не было никаких сил, и Иосиф Георгиевич, промучившись полтора часа,

вызвал Аду к себе, закрыл дверь на ключ и стал поспешно снимать с нее одежды. Но, к их досаде, кто-то постучал, Ада поспешно застегнула халат, доктор, скрежеща ключом и зубами, открыл дверь. На пороге стоял Житейский.

– На утренний обход идете? – спросил он.

– Нет, пожалуй. Сегодня без меня. Надо подготовить кое-какие срочные документы, – соврал Иосиф Георгиевич.

Они снова закрылись, и опять кто-то начал рваться. Доктор чуть не взвыл от досады.

– Я сейчас привезу Малакину, – тихо сказала Ада. – После приема пищи она в дремотном состоянии. Мы закроемся, как будто для сеанса гипнотерапии…

Она так и сделала: привезла на тележке больную, которая едва подавала признаки жизни. Шрамм повесил на дверь табличку: «Не входить! Сеанс гипноза!» Придвинув тележку с Малакиной к окну, они вновь разделись и бросились в объятия друг друга. «Экий, однако, эксгибиционизм», – подумал доктор, заметив, что Малакина наблюдает за ними из-под прищуренных век…

Закончив «сеанс», Аделаида увезла больную на место… Доктор же был сегодня неудержим. Он вновь вызвал Аду к себе, приказал добыть спирта и через час быть у него на квартире, где он проведет с ней служебное совещание.

…Этой же ночью в маленькой слепой комнатушке под самой крышей стены лечебницы укрывали еще одно тайное свидание, скрытное, запретное, будто ворованное. Здесь, в угловой каморке, обитал уже второй год «Юрка-сирота-ни-квартиры-ни-черта» – с тех самых пор, как «выпустился» из детского дома. Никто его в этой жизни не встречал и не ждал, от армии освободили по здоровью. И вот в свои восемнадцать с половиной лет он оказался в такой же степени свободным, как и глубоко несчастным.

Может, божье провидение привело его, и Юрка-сирота нашел свое место в больнице, среди отверженных, несчастных, брошенных…

В лечебнице к нему отнеслись с подозрением. Мало было охотников на грязный и неблагодарный труд – все больше старухи да опустившиеся мужики, которым за сорок, непутевые, озлобленные, крепко зашибающие. Иосиф Георгиевич долго вертел в руках Юркины документы, задумчиво глядя на прочерк в графе «родители», ведь Юрка был самым классическим подкидышем. Восемнадцать лет назад ранним утром его нашли завернутым в несколько одеял на пороге детского дома. При нем обнаружилась записочка: «Прошу назвать мальчика Юрой. Простите меня, люди!» Этот клочок бумаги, как ни странно, умудрились сохранить. И вместе с напутствиями и пожеланиями он получил и это байстрючье «свидетельство о рождении». Хранил его Юрка как самую дорогую, бесценную святыню, ведь это было все, что оставалось и связывало его с матерью, которую он не знал.

К Юрчику быстро привыкли. И он, серая детдомовская мышка, вдруг осознал, что необходим, нужен этим несчастным, измученным душевным недугом людям. Больные, даже в самых тяжелых клинических формах, отличали его среди других санитаров, улыбались, привечали его, и он не гнушался их обществом, тянулся к ним. Жить Юрчик стал при больнице. Начальство это устраивало – по сути, он оставался на круглосуточном дежурстве. Он редко выходил за пределы лечебницы, питался вместе с больными и не искал другой жизни в городе.

Так бы он и жил среди грубых и ленивых санитаров и санитарок, потихоньку старел, возможно, стал бы циничней и черствей. Но опять провидение решило подарить ему маленькое счастье. У этой тайны было девичье имя Маша. Сначала их встречи происходили в столовой, где она иногда помогала поварам готовить пищу. Маша ходила в платке, который почти полностью укутывал ее голову, смотрела на мир голубыми, как тающие под ясным небом льдинки, глазами. И, увы, были они такими же холодными и безжизненными. Иной раз в ее отрешенном взоре что-то вспыхивало, будто далекое и фантастическое для этих мест северное сияние.

– Почему она будто не от мира сего? – спросил однажды Юра у Житейского.

– Про других ты никогда не спрашивал, а вот про нее спросил, – изрек Житейский. – Вот ты сейчас пойдешь «утку» из-под Малакиной вытаскивать, а она в это время в космосе витает, а может, где-то в Средних веках… – Уловив непонимание в глазах Юрчика, он добавил: – У Маши ренкурентная шизофрения, фантастически-иллюзорный онейроид. Она живет в искаженном мире.

– Она сама его придумывает? – спросил тогда Юра.

– Так нельзя сказать, – туманно ответил Житейский.

Однажды Маша, будто очнувшись, выплыв из своих грез, подошла к Юрчику, коснулась его руки и сказала:

– Ты не такой, как все. Почему?

– Не знаю, – чистосердечно ответил он.

– Ты добрый?

– Не знаю, – опять односложно повторил он, не в силах оторвать взгляда от ее глаз. Они сияли, они проснулись, горел в них огонь, вернее, свет, который заполнял все вокруг.

Юрчик ощутил, как забилось его сердце, ему стало хорошо и весело на душе, ведь Маша ощущала его, разговаривала с ним как с настоящим живым человеком, а не с призраком ее холодного космоса.

…Случилось все поздним вечером, когда Юра уже собирался уединиться в своей каморке. Она остановила его.

– Ты тоже сумасшедший? – спросила Маша.

– Нет, я санитар, – честно ответил он.

Она нахмурилась:

– Я не люблю санитаров. Особенно санитарок. Они жестокие, привязывают меня к кровати, а это мешает мне летать. Но я все равно развязываюсь, когда они уходят. Но ты другой. Ты, наверное, тоже сумасшедший, но не знаешь об этом.

Он уже хотел уйти, оставив ее одну, но она увязалась за ним, пришлось привести ее в каморку. Маша рассеянно огляделась, села на его кровать и тихо

сказала:

– Мне никто не нужен, и я никому не нужна. И ты никому не нужен. Когда люди не нужны друг другу, они начинают думать, как бы сделать что-то плохое. Я это по себе знаю. Иногда мне хочется ущипнуть старшую медсестру. Но я ее боюсь. Однажды она приказала меня отравить, и меня кололи огромной иглой. А я все равно выжила… Тебе не страшно ночью одному? У тебя задумчивые глаза…

Маша говорила, точнее, роняла фразы, Юра слушал, не вникая особо в смысл, просто внимал звукам ее голоса. Сумасшедших не всегда можно понять, легче просто радовать их своим вниманием. Что же касается Юрчика, то он был просто счастлив, потому что на его кровати сидела девушка. Никогда в жизни с ним рядом не сидела девушка.

Через два дня она снова увязалась за ним, и Юра не смог ее прогнать, хотя знал, что поступает нехорошо, нарушает правила внутреннего распорядка и что-то там еще, на что без всякой причины намекал главный врач Иосиф Георгиевич… В тот вечер Юра был свободен, никуда не торопился, и ему не хотелось, чтобы Маша ушла. Он стал рассказывать ей о себе, она старалась внимательно слушать, хотя давалось ей это с трудом. Тем не менее грустные Юркины рассказы вызывали у нее массу разных эмоций, реальных и фантастических ассоциаций; иногда она улыбалась, закрывала глаза.

Вдруг Маша распустила узлы на глухом платке, и чудные волосы рассыпались по ее плечам. Юра прекрасно догадывался: она их прятала, потому что большинству больных независимо от пола всегда делали «нулевку». В клинике профилактировали педикулез. «Я по ночам мою их холодной водой», – по секрету сообщила девушка.

И Юра тут же поставил на плитку кастрюлю с водой, подогрел и профессионально, да и с удовольствием вымыл ей голову, причем настоящим французским шампунем, который купил как-то, сам не зная для чего, ведь он пользовался обычным мылом. Потом он насухо вытер ее вьющиеся волосы, и они тут же приобрели блеск темного золота. Неожиданно для себя он осторожно обнял Машу за талию, она не вздрогнула, а доверчиво прижалась к нему. И будто горячая волна захлестнула неискушенную Юркину душу.

– Бедная ты, несчастная девочка, такая же, как и я… – прошептал он, почувствовав, как подступили слезы. И уже не по-мальчишески, а со взрослой грустью подумал, что же делать ему с этой маленькой, жалкой, брошенной всеми узницей «желтого дома». Маша вздохнула, потом взяла Юркину голову в ладони и прижалась к его губам.

– Мы по-настоящему целуемся? – слегка отпрянув, спросила она.

– Не знаю, я никогда не целовался, и меня не целовали, – ответил он, когда справился с дыханием.

Он взял ее маленькую руку, в его огрубевшей ладони она напоминала маленькое крылышко – полупрозрачная кожа, голубые прожилки.

* * *

Прошло какое-то время… Лаврентьев ощутимо, как это бывает за мгновение до пробуждения, понял нутром, что многое странным и страшным образом изменилось. Хирург Костя влил в его жилы слишком много подстегивающей фармохимии. И оттого земля показалась бесцветной и скучной, будто пепел истлевшей сигареты. Странно, что этот безжизненный серый цвет не взволновал Лаврентьева. Да и не то что не взволновал – вообще не тронул. Значит, таковая сейчас гамма восприятия. Это он понял отчетливо, когда медленно шел по территории полка и так же медленно кивал лежащим, сидящим, откинувшимся, прислонившимся к стенам штаба людям – его офицерам. С раздражением подумал: «Хмурые все и вялые, как засыхающие дождевые черви. Переутомились!..» И тут внезапно он понял, что все они давно убиты.

Потом прошло еще время, никому до него не было дела, никого не интересовало его странное состояние, нелепые, перевернутые мироощущения. «Наверное, люди в окопах, на боевом дежурстве… Беженцы ушли. Это Штукин приказал открыть ворота».

Он специально не пошел на стадион, а сделал крюк, потому что издали заметил десятки, а может, сотни мертвых тел беженцев… Так и не встретив ни одного живого, он пошел в парк. Пушки стояли наготове, уставив жерла стволов в небо, одинаковые, стандартные, как мысли новобранцев. Мертвыми ящерами застыли

танки. Их приплюснутые башни наводили на мысль, что сии творения – самые что ни на есть железные олигофрены. Лаврентьев почувствовал острое одиночество. «Куда все, черт побери, запропастились?.. Может, у меня горячка?» Но эти неприятные ощущения тут же сменились полным равнодушием: «Одному лучше: никто не мешает думать и поступать, как захочется. В этом золотая прелесть одиночества…»

Он встал на колени, стал раздирать землю пальцами, равнодушно замечая, как ломаются ногти, как становятся серыми, неприятно сухими руки. Окаменевшая под жестким солнцем земля не хотела отдавать самое себя, но Лаврентьев смог вырвать горсть. Он знал самый смешной способ победить все танки и пушки в одиночку. Он возьмет в пригоршни умершую землю, заткнет все эти нарезные и гладкие стволы-глотки. И жерла, испытывающие в момент самодовольного извержения оргазм подавляющей силы, вдруг лопнут, разорвутся на сотни осколков.

Были смутные часы или минуты. Он увидел себя оборванным и обросшим, от одежды остались печальные лохмотья, в его глазах выгорел гнев. Он накормил уродливые жерла черствой скупой землей. В какое-то мгновение ему показалось, что пушки следят за ним, пытаясь понять суть его вдохновения. Бесчувственные забитые пасти шевелились, поворачиваясь ему вслед…

«Стреляйте», – тихо сказал он и пошел в обратную сторону мимо чугунно-монолитного строя механических олигофренов… Единый залп потряс небо, землю, будто выплеснулись воедино тонны крови. Лаврентьев почувствовал, что прижат к земле, а вокруг медленно, вращаясь и кувыркаясь, летели и падали на него миллионы осколков лопнувших стальных труб, которые уже никогда не станут стволами…

Наваждение продолжалось всего лишь мгновение, короткое и ослепительное, не дольше, чем жизнь вспыхнувшей в темноте спички. Лаврентьев понял, что отключился, но никто в окопах даже не успел этого заметить. Рядом с ним скрючился на корточках майор-запасник Чеботарев, курил, скрывая огонек в ладонях.

Командир потер виски. Наличие головы на плечах не ощущалось: абсолютная темь, новолуние, колючая россыпь белых звезд, теплое шевеление ветра.

– Пойду в штаб, – сказал Лаврентьев. – Только не усните.

– Старая гвардия не подведет… – тихо ответил Чеботарев.

Командир позвал Штукина, который тоже сидел в окопах, и они вместе пошли в штаб. В черных окнах едва проглядывали два огонька: на весь штаб было не более трех керосиновых ламп. Лаврентьев приказал позвонить во второй караул, охранявший артсклады, узнать ситуацию. Начальник штаба ушел, а Лаврентьев направился в свой кабинет. Ольга сидела на телефонах, сонная золотоволосая «муха-цокотуха». Он так и назвал ее, когда вошел. Ольга улыбнулась усталой светлой улыбкой – сравнение ей понравилось.

– Значит, вы считаете, что у меня позолоченное брюхо? – спросила она.

– А это мы сейчас проверим, – ответил он, продолжая дурашливый разговор. Лаврентьев заметил, что Ольга опять надела короткую юбку. – Иди ко мне! – приказал он.

Ольга машинально приподнялась, усмехнулась, провела быстрым движением по волосам, будто стряхивая сонное настроение, подошла, остановилась рядом. Он довольно грубо привлек ее и усадил к себе на колени. Ольга вскинула изумленно брови и в первое мгновение даже не попыталась вырваться: до того неожиданно и бесцеремонно с ней обошлись. Пока она раздумывала, как бы ловчее влепить пощечину командиру, Лаврентьев уже целовал ее, но не жадно, по-щенячьи, а властно, умело и снисходительно. Как и подобает командиру. «Ну и черт с ним! – расслабленно подумала Ольга. – Все равно что-то должно было произойти».

– Это как понимать, господин подполковник? – как можно равнодушней спросила она.

– Как поощрение, – ответил он.

– Первый раз слышу о таком. В уставе, кажется, оно не предусмотрено.

– Правильно. Я его только что изобрел. Командир поощряет творчески, а не по шаблону.

– И как далеко может зайти такое поощрение, особенно в отношении хорошеньких женщин?

Тут Лаврентьеву захотелось внести поправку насчет «хорошеньких» – исключительно по вредности характера, – но он сдержался. Все же, когда на коленях сидит действительно симпатичная девушка, которую только что «не без удовольствия» целовал, надо хоть чуть-чуть быть вежливым и благосклонным.

– Все зависит от хорошеньких, – пояснил Лаврентьев и положил ладонь на Олечкину коленку.

Она покосилась на эту руку и нарочито равнодушно спросила:

– Лаврентьев, неужели я вам нисколечко не нравлюсь? – На последнем слове голос ее едва заметно дрогнул. Она никогда не говорила подобное мужчинам, тем более первой.

Лаврентьев сжал ее коленку, пристально посмотрел в глаза и рассмеялся. Она вспыхнула, вскочила, но он успел удержать ее за руку.

– Нравишься. Иначе бы не поощрял!

Ольга поняла, что оплошала, что не надо было так болезненно реагировать: мужлану все равно, лишь бы посмеяться или подурачиться.

– Вам никогда не мстили женщины? – Ольга высвободила руку, пересела подальше. – Наверное, мстили. И правильно делали. Вы злой, Евгений Иванович. Вы любите издеваться. Поэтому от вас и жена ушла…

«Выгнать? – равнодушно подумал Лаврентьев. – Черт с ней, пусть треплется. Даже любопытно. Спать все равно пока не хочется».

– Любовь – разменная монета на долгом поприще семьи… – вставил он, чтобы разговор сохранял видимость диалога.

– Вы черствый человек… Все эти три года я наблюдала за каждым вашим шагом, мучилась…

– И сообщала в особый отдел! – вставил Лаврентьев.

– Вот видите, вы опять ерничаете и издеваетесь! А я действительно ждала, когда же вы посмотрите на меня не как на полковую мышь с узла связи, а как на…

– Лучшую и красивейшую женщину полка, – печально отозвался Лаврентьев. Ему стало почти до слез жалко Ольгу. Бывает, накатывает такое, как тугой волной… Но что может сказать тишина в подпаленном сердце!.. Тсс!.. Тишина и в полку. Командир вслушивается в свое сердце. Пусто и слякотно, как в старом колодце.

– Любовь к женщине – это такая частность по сравнению со всей несоизмеримой способностью человека, то есть мужчины, к любви…

– Я вижу, что вам сегодня хочется подурачиться… Тоже мне, ловелас недоделанный.

Она показала ему язык и выскочила за дверь. Лаврентьев неторопливо поднялся, вышел за ней. Как он и предполагал, она стояла за дверью. Разумеется, далеко уйти она не могла. Некуда. Ольга пыталась прикурить стрельнутую у кого-то сигарету.

– Оленька, хочешь, я переведу тебя в столицу, хочешь – в Россию? Чего ты здесь мучаешься среди мужиков? Отправлю тебя с ближайшей колонной, выправим документы, перевод, у меня кадровик есть знакомый, что хочешь устроит. Соглашайся! Найдешь себе парня хорошего. Здесь у тебя счастья не будет, точно тебе говорю, поверь опыту злого и черствого человека…

– Спасибо, Евгений Иванович. – Она мягко коснулась груди Лаврентьева. – Но я останусь с полком. Мать у меня умерла, отца я почти не знаю. Никого у меня нет…

Она все никак не могла прикурить, и Лаврентьев взял у нее сигарету и забросил в угол.

– Иди поспи. – Он развернул ее к выходу и подтолкнул.

Командир тоже решил прилечь на койке, но только прикрыл глаза, как вновь странные, фантастические видения стали преследовать его. Опять он шел по серой выжженной земле, сухой ветер рвал его волосы, слепил глаза песком. И ни души вокруг: лишь мертвые тела да застывшие танки, бронетранспортеры, искореженные машины с бурыми потеками то ли крови, то ли ржавчины… Наваждение стало реальностью, запомнились даже номера машин, блеск полированных гусениц, открытые люки, выгнутые стволы, брошенная каска. Лаврентьев вздрогнул и проснулся.

В полусне-полуяви Лаврентьев провел остаток ночи. Под утро позвонил неизменный генерал Чемоданов.

– Как погода в столице нашей родины? – поторопился спросить Лаврентьев.

– Дождь, – после хмурой паузы ответил генерал.

– Чувствуется, что вы не очень рады, товарищ генерал. А вот нам бы дождичек не помешал.

– Не отвлекайся, Лаврентьев. Докладывай, как обстановка?

– Обстановка нормальная, товарищ генерал. Сидим в окопах. Ждем!

– В окопах – и ждете дождя? Что-то я тебя не понял, Лаврентьев. Вы что там, все перегрелись? – сурово зарокотал Чемоданов.

– Да не дождя. На дождь мы уже и не надеемся. Ждем, когда нас штурмом брать будут. Фундики, я имею в виду фундаменталистов, получили оружие из-за границы. Готовятся к нападению…

– А эти, другие?

– Другие пока нас не трогают! – поспешно заверил командир.

– Ну-у… ты, в общем, там смотри, не поддавайся… на провокации. Помни, что высоко несешь честь Российской армии. У нас нейтралитет. Мы соблюдаем нейтралитет. Понял? Они пусть сами там воюют. Нечего нам в их дела влезать. –

И совсем уж сурово прибавил: – Не дай бог, войну нам тут развяжешь. Отвечаешь головой, подполковник.

– Войны развязывают не подполковники. Их развязывают «пиджаки»… Какие будут указания в случае нападения групп боевиков? – Последнюю фразу для старческого уха Лаврентьев произнес громко и членораздельно.

После еще одной паузы он услышал крепкий старческий мат, в котором уловил следующее. Во-первых, он мудило, так как закончил академию и задает «после нее» такие вопросы. Во-вторых, он тряпка, потому что не знает, как поступать в обстановке, приближенной к боевой. И в-третьих, надо всегда думать своей головой, а не перекладывать ответственность на чужие плечи и ждать, когда подскажет дядя из Москвы. Выдохшись, генерал все же подобрел, назвал Лаврентьева сынком и, еще раз пожурив, напомнил, что волноваться ему нет никакого резона, ведь вся могучая Россия за его спиной. Выручит, поддержит…

Лаврентьев поблагодарил, положил трубку и почесал макушку. Потом приказал «седлать» боевую машину пехоты и через полчаса в сопровождении еще двух машин отправился во второй караул готовить круговую оборону.

У Ольги выдались свободные часы после дежурства. Но в маленькую квартирку в городе она не пошла – это было опасно. Уже месяц она тоскливо жила в полку, и к мерзостям войны прибавилось постоянное ощущение бездомности. А ведь она была домашней девочкой, такой ее воспитывала мама, которая всегда панически боялась уличных контактов. Ей казалось, что дочь в любую минуту может стать жертвой мальчишек-аборигенов. Ольга не пала жертвой аборигенов, но не устояла перед лейтенантом, брак с которым был скоротечным, как лето на арктическом берегу. Лейтенант, получив очередное звание, «уплыл» к новому месту службы. Их общий ребенок умер после родов. Судьба позволила начать жизнь с чистого листа… Целый месяц она страдала от депрессии. Воспоминания о лейтенанте вызывали глухую ненависть и отвращение. Ольга медленно ходила по пустой квартире, избегая глядеть в зеркало – собственное отражение вызывало тоску: глаза в черных провалах, обострившийся нос, спутанные волосы. Мать не трогала ее, справедливо рассудив, что время излечит. И она лечилась, потихоньку отливая спирт, который мать приносила тайком с азотно-тукового комбината, где работала. В свои двадцать с половиной лет Ольга впервые открыла для себя сладкую истому и спасительную силу алкоголя. Она разбавляла спирт водой, наблюдая, как таинственно затуманивается смесь и выделяются крохотные пузырьки. Морщась, она

проглатывала теплую жидкость, судорожно заедала хлебом… Появлялся туман, она пряталась в нем, он окутывал сознание пеленой, как сад заморозками. Придя в расслабленное состояние, она ложилась на диван и путано мечтала. Хотя, точнее, мечты более напоминали разрозненные, как бред, желания – несбыточные и преходящие, как и само опьянение. Потом она засыпала, приходя в себя за час-два до прихода матери. Отпаивалась водой, прибиралась, готовила ужин. Наутро все повторялось. Лежа в постели и притворяясь спящей, она с нетерпением ждала, когда уйдет мать, чтобы тут же начать тайное сладострастное священнодействие. Так в одиночку она выпила почти всю трехлитровую банку спирта, которую мать хранила в чулане. Что она будет пить дальше и что скажет мать, обнаружив пустую банку, Ольга не знала и подсознательно даже не хотела думать об этом. Она жила одним днем, мысли о будущем вызывали у нее глухое неприятие и раздражение. Матери она уже не боялась: самое страшное, что могло быть в жизни юной женщины, она пережила – смерть ребенка, предательство мужа и развод. Нравоучений она не терпела и тут же уходила из дома, как только мать начинала ее поучать.

Развязка наступила сама собой. Она допила жидкость, едва разбавив водой. На этот раз доза была чуть ли не вдвое большей, чем обычно, и ей стало безудержно весело. Наскоро закусив холодными макаронами, она надела джинсы, футболку и, не очень твердо ступая, вышла на улицу. Солнечный день ослепил ее. Последний месяц она жила затворницей, и от яркости красок, буйной зелени, радостного визга детворы голова у Ольги пошла кругом. «В детстве я не была такой счастливой, как они», – пронеслась у нее отчетливая мысль. Она зажмурилась от удовольствия нахлынувшей свободы, подумала насмешливо: «И чего я, дура, сидела столько времени взаперти. Я стеснялась, мне было стыдно, и я думала, что на меня будут показывать пальцем: вот идет уродина, ее бросил лейтенант из полка, когда она родила ему мертвого младенца! А я вовсе не уродина, правда, малыш?» Она потрепала по головке пацана, который возился с девчонкой в куче песка, и нетвердой походкой пошла дальше. Она решила зайти к подруге, которая навещала ее на прошлой неделе, но дверь не открыли, и Ольга поняла, что та на работе. Дальнейшее помнилось смутно. Кажется, ее тут же понесло в полк. Ольгой овладела решимость разобраться с офицериками и высказать им все, что она думает об их хваленой офицерской чести. Ее пропустили беспрепятственно. Во-первых, потому что помнили как жену лейтенанта, а во-вторых, разъяренный нетрезвый вид девицы потряс и поверг в долгий шок дежурного по КПП. Ольга направилась прямо в штаб, к командиру полка.

Что было потом, она не знает до сих пор. Лаврентьев молчит, а ей каково спрашивать об этом, хоть и прошло уже более трех лет… Тогда ее отвезли домой на командирской машине. На следующий день машину вновь прислали. Ольга поняла, что на «разбор полетов», как говаривал ее бывший муж. Отказываться, трусить, малодушничать было нельзя – Ольга привыкла отвечать за свои поступки. На ватных ногах она прошла к машине, спиной чувствуя трагичный взор потрясенной матери. Всю дорогу ей было дурно, сильно тошнило, и в кабинет она вошла зеленая, как плесень. Выдавив «здрасьте», она украдкой осмотрелась, стараясь найти следы вчерашнего преступления. К ее удивлению, все вроде бы находилось на своих местах. Командир поднялся ей навстречу, неожиданно по-отечески обнял ее за худые плечи, погладил по голове. «Ну что, девочка, плохо тебе, не везет в жизни…» Оля тут же расплакалась, и не от стыда вовсе, просто давно ее никто вот так просто, по-человечески, без лишних слов, не пытался понять, пожалеть, разобраться в ее душе, согреть… И она совершенно неожиданно для себя, вздрагивая и всхлипывая, излила перед Лаврентьевым всю горечь своей бестолковой жизни, рассказала все, даже как втихую травилась спиртом, чтоб забыться, ничего не помнить, уйти… Пару раз в кабинет заглядывали какие-то люди, но Евгений Иванович приказал, чтоб больше никто не появлялся.

Они пили командирский чай, она постепенно успокоилась и даже два или три раза рассмеялась его шуткам… Она сразу влюбилась в его кабинет: здесь было по-особому тепло, она почувствовала умиротворение, которое могут нести стены домов и жилищ, – она знала это, – если в них жили люди, могущие излучать ауру добра. Существовала и злая аура, и Ольга, обладая тонкой чувствительностью, тут же определяла это. Лаврентьев практически жил в этом кабинете, она это знала, как знала и то, что жена командира далеко и не торопится приезжать. «Какой он хороший, только для меня уже старый», – неожиданно подумала она тогда и застыдилась своих мыслей… В общем, в тот день все перемешалось в ее голове. От этого внешне хмурого и неприступного человека – командира полка, грозы лейтенантов, в том числе и ее бывшего мужа, – она получила удивительно теплый импульс. С отвращением вспоминала она о том, как целый месяц провела в нетрезвом животном состоянии, бездумно, бесцельно, как тряпка, что уж совсем не свойственно было ее гордой натуре. Она ужасалась! Прощаясь, Евгений Иванович предложил Ольге должность служащей в полку. Она тут же согласилась. Полковые мужички, в меру воспитанные и образованные, замотанные и издерганные службой, знали грань, за которой кончается понятие порядочности. А кроме того, хорошо помнили бездумного ее мужа. Возможно, в глубине души и жалели.

Больше всего Ольге, как ни странно, досаждал Костя. Появился он в полку недавно. Предусмотрительное медицинское начальство в преддверии гражданской войны и революции откомандировало холостяка и пьяницу по кличке Разночинец в город К. – на случай большого кровавого аврала. Он доложился командиру полка, оценил состояние медчасти и в отсутствие работы в тот же день вместе с полковым врачом надрался, как выражаются медики, «до потери пульса». Лаврентьеву тут же доложили о безобразии, но он не стал «гнусавить» по телефону, справедливо рассудив, что в работе человек пока еще не успел себя проявить, а значит, жаловаться и судачить о нем рано.

Костя писал талантливые стихи, но никому их не показывал. О том, что они были талантливыми, знала лишь Ольга. Она не то чтобы слишком разбиралась в поэзии, просто от природы могла отличить фальшь от искренности, подлинность от притворства. По вечерам они сидели на полковом стадионе под теплой луной. Чудны были вирши пропойцы-хирурга! В те вечера он почти и не пил, чуть-чуть только, для затравки и храбрости. Олечка слушала терпеливо, и Костя, притомившись, подкашливая и поерзывая рядом с дивой, завольничал руками… Сидел бы просто, безвинно прижавшись к плечу, читал бы, радуясь тишине (назойливые одиночные выстрелы не в счет)… Так нет же, полез, невольник страсти, да получил по лапам.

Позже Костя неутомимо и тактично напоминал о своих симпатиях. Но вечера на стадионе больше не повторялись. А однажды Ольга сказала напрямик: «Никто еще не осмелился дышать на меня перегаром».

…В следующую ночь подполковнику Лаврентьеву не снились танки. Сны его были черны и пусты. Около двух ночи он проснулся от грохота танкового дизеля. Подумал: механик дежурной машины решил опробовать двигатель. Но тут загрохотало еще громче, присоединились вторая, третья машины. Командир выскочил в кромешную темь, на ходу застегиваясь, а впереди него бежали некие дежурные тени, кричали, размахивали руками. Но было поздно. Три черных гиганта, урча, развернулись на асфальте и, набирая скорость, рванули ко второму КПП. С железным скрежетом и грохотом рухнули ворота, танки, подминая и размазывая их, устремились на свободу. В ночи хорошо было слышно, как механики-водители спешно переключали передачи, как торопливо с металлическим журчанием крутились гусеницы. И опять постепенно все замерло, будто затянулось прежней тишиной. И Лаврентьев понял, что Кара-Огай его таки переиграл. Он достал сигарету, неторопливо закурил. «За танки мне точно оторвут голову. Припомнят все: и независимость, и свободу суждений,

и показную „самостийность“. Плевать, – бесшабашно подумал Лаврентьев. – Пусть снимают». В эту минуту подобная перспектива его не пугала, впереди открывались неожиданные и даже привлекательные повороты судьбы. К примеру, навсегда рассчитаться с давно опостылевшей военной службой, в которой ему не видать ни перспектив, ни академии ГШ, ни лампасов.

– Это вы, товарищ подполковник? – спросила его темнота.

– Я. Что скажешь? – Он узнал Козлова. – Сейчас будешь тереть ухо и докладывать, что танки уперли караогайцы?

– Никак нет. Это были наши, из аборигенов, – поторопился доложить начальник разведки, – лейтенант Моносмиров, прапорщик Тулов и боец. Фамилию не помню…

– Вот сволочи… Купились! А третий кто – Чемоданаев?

– Чемоданаев в дежурке спит… Третий из дезертиров, за Огая воюет… Они идейные, товарищ подполковник. Я давно за ними присматривал, все в бой им не терпелось.

– Присматривала бабка за девичьей честью… И дежурный, сукин сын, упустил! Прошляпили, проспали…

Надо было докладывать-радовать… Сначала – командиру дивизии, потом – в Москву.

Вечером позвонил и предложил встретиться Сабатин-Шах. Но он просил гарантий своей безопасности. «Приходи, – сказал командир, – в полку тебя никто не тронет». Глава фундаменталистов появился в сопровождении своих молодчиков – двух совершенно диких афганцев и трех не менее диких соплеменников. На Сабатин-Шахе был серый костюм с отливом и белая чалма.

– Ну говори, что хочешь от меня, – напрямик спросил Лаврентьев, чтобы избежать утомительного церемониала из череды пустых вопросов и таких же пустых ответов.

– Зачем танки отдал этому шакалу? Ты же говорил, что нейтралитет! – Гость смотрел тяжело, вот-вот засопит от возмущения. – Кто говорил мне, что никому не дашь оружия, что не хочешь, чтобы гибли новые люди?

– А кто тебе сказал, что я дал? – грубо спросил Лаврентьев. Ему захотелось схватить этого кровавого интеллигента, по приказу которого вырезали несколько сотен человек, и хорошенько треснуть о край стола, а потом намотать его галстук на руку и долго и задушевно говорить о российском нейтралитете. «Какая же это гадина, и вот с такими я должен соблюдать видимость дипломатического этикета!» – подумал он с отвращением.

– Вы не должны вмешиваться в наши дела. – Сабатин-Шах, видно, прочитал сокровенные мысли и желания командира и поторопился заявить о своих правах. – По вине этих шакалов в республике льется кровь, а вы способствуете этому…

– Ты не понял меня, Сабатин, – устало перебил Лаврентьев. После беседы с Чемодановым он еле сдерживался, чтобы не перейти на нецензурный язык. – Танки у меня угнали. Украли. Тебе это понятно? Я им уже поставил условие: или они возвращают танки, или я вместе с авиацией уничтожаю их. Больше добавить нечего. Говори, что еще не ясно, и уходи.

– Речь идет о том, что ваша сторона должна безвозмездно выделить нашей стороне пять танков: три – соответственно количеству, переданному нашим противникам, еще два – за упущенную стратегическую инициативу, – ровным голосом произнес Сабатин-Шах.

От такой наглости Лаврентьев даже присвистнул.

– А чего на упущенную инициативу только два? Ты не справишься, надо как минимум еще пяток. Да и пару запасных боекомплектиков не помешает…

В глазах Сабатина сверкнули молнии. Он постарался скрыть эмоции, отвел взгляд и негромко сказал:

– Человек, который нарушает свое слово, подобен ветру с песком: люди от него морщатся и отворачиваются. Я сделаю так, чтобы весь мир узнал, что русский подполковник, командир 113-го полка, продал три танка фанатикам Кара-Огая и

тем самым нарушил нейтралитет. Сегодня же я сделаю заявление перед прессой.

– Нам больше не о чем говорить, – вежливо напомнил Лаврентьев.

…Пропал майор Штукин. Эту новость кисло и как бы извиняясь за шефа сообщил начальник разведки Козлов. Он еще с утра выехал во второй караул, должен был вернуться к обеду, но часы истекли, старший караула сообщил, что майор убыл полтора часа назад.

А еще через час из дежурки выскочил, будто ошпаренный, капитан Коростылев и сбивающимся голосом сообщил, что звонил неизвестный, который сказал, что Штукина взяли в заложники.

– Они не представились. Сказали, что через сутки пришлют голову и погоны, если не передадут им три танка.

– Сабатин… Ну, сукин сын, интеллигент паршивый, будут тебе танки! – Лаврентьев резко повернулся. – Найти срочно командира танковой роты Михайлова. Готовить к выезду три машины!

Появился неторопливый капитан Михайлов, весь промасленный, как прошлогодняя ветошь. Он вяло доложил о прибытии, замедленно приложив грязную руку к форменному кепи. В покрасневших глазах его читались скука и смертельная усталость.

– Готовь три танка к выезду. Бегом!

Дежурный покосился на Лаврентьева с еще большим удивлением.

– А механиков где я возьму? – мрачно спросил Михайлов.

– Ты – первый. Я – второй. Коростылев, будешь третьим механиком. Оставишь за себя помощника… Хотя двух танков им хватит. Я буду на командирском месте. Все ясно?

Михайлов расцвел, рысцой потрусил в парк. А Коростылев, чеканя каждое слово, будто зачитывая присягу, произнес:

– Товарищ подполковник, я, как ответственное лицо, заявляю, что вы не имеете права передавать бронетехнику бандформированиям. Вы нарушаете… Вы превышаете свои полномочия!

– Заткнись, капитан! Не время болтать. Подполковник Лаврентьев ни одного патрона не отдал бандитам… Бегом в парк! Не рассуждать! Танк еще не разучился водить?

– Никак нет… – Старый служака, кажется, стал что-то понимать.

– Давненько не разминались на «главной ударной силе сухопутных войск», – произнес Лаврентьев, когда запыленные танки остановились у штаба. – Механики-водители, ко мне!

Оба капитана шустро выскочили из машин, встали перед командиром.

– Первое. Нейтралитет пока не отменяю. При встрече с нашими угнанными танками на таран идти не будем. Второе. Наша задача – вырвать у фундаменталов начальника штаба майора Штукина, который сегодня захвачен в заложники.

Появился начальник разведки. На его красном помятом лице читался газетный шрифт – отсыпался после дежурства.

– Твоего шефа Сабатин-Шах взял в заложники. Требуют выкуп – три танка. Ситуация ясна? Штаб у них по северной дороге и влево перед самым выездом из города, так?

– Да, в здании общежития ПТУ, – подтвердил Козлов. – Там у них, где столовая, есть подвал. В нем пыточную камеру устроили.

– Давай три свое ухо, – не выдержал Лаврентьев. – Думай, черт бы тебя побрал, где его могут прятать? Ты начальник разведки или нет?

Козлов собрал морщины на лбу, снова пожевал губами, будто произносил известную только ему молитву.

– У него здесь живет двоюродный брат Рама, ярый фундик, он один из его ближайших помощников… У него большой дом за высоким каменным забором. Есть и подвалы – с вином. Очень любит это дело…

– Знаю этого живодера, – перебил Лаврентьев. – Метров двести или триста от общаги. Но с чего ты решил, что его будут прятать именно там?

– Чтобы никто не знал и не проговорился. А брату он доверяет как себе.

– Ладно. Мосты сожжены. Козлов, ты во втором танке – за командира. Начнем со штаба. Стрелять по моей команде. Осколочно-фугасным… – И про себя добавил: «Я вам устрою нейтралитет!»

Они выехали на шоссе, прогрохотали мимо сожженного гастронома, повернули на центральную улицу. Вид несущихся куда-то на огромной скорости танков внушал ужас случайным прохожим.

Лаврентьев включил переговорное устройство, проверил связь с Коростылевым:

– Как самочувствие? Хорошо? Восторг? Тогда гони прямо!

Потом он соединился с начальником разведки, приказал подготовиться к стрельбе.

– Я уже подготовился, – доложил Козлов.

За время затворничества Лаврентьев знал лишь одну дорогу – до Кизыл-Атрекского моста, а далее прямо и прямо, до самого второго караула, где даже в самую жару лежали, всегда холодные, груды и штабеля смертельного груза: сотни тысяч тонн боеприпасов. Только он один и Коростылев, как самый старожил, знали точное количество этой огромной, спящей, разрушительной силы, которой хватит, чтобы разнести до молекулярного состояния всю Долину, изменить течение реки, сделать из ойкумены сплошную серую пустыню с вкраплениями красного.

Лаврентьев сначала хотел идти на штаб Сабатин-Шаха, но понял, что лучше захватить его двоюродного брата по имени Рама. На перекрестке он приказал повернуть, чтобы выйти к дому не по северному шоссе, а по переулкам и полям.

Они подъехали к белому каменному забору. Лаврентьев развернул пушку назад и скомандовал Коростылеву «полный вперед». Танк выдавил железные ворота и кусок стены, по развалинам въехал во двор. Здесь был маленький оазис: росли деревья, цветы, в глубоком арыке журчала вода. В доли секунды Лаврентьев оценил это великолепие, снова развернул пушку, нацелив ее в окно, спрыгнул с брони и с автоматом наперевес ворвался в дом. За ним следом бросился Козлов. Где-то в потемках завыла женщина. Хозяин, тучный человек лет тридцати, держал автомат и бледнел на глазах. Командир отобрал у него оружие, коротко скомандовал:

– Выходи!

Рама подчинился, угрюмо попросив:

– Семью только не трогайте!

– Нам нужен ты, – сказал Лаврентьев. – Живо на танк!

Хозяина дома посадили на башню.

– А теперь говори, где майор Штукин? Иначе я разнесу твой дом в щепки.

Рама обильно вспотел, по мясистому лицу потекли капли.

– Козлов, заряжай! – скомандовал Лаврентьев мертвенным голосом, от которого даже у Коростылева пошли мурашки по телу.

Козлов равнодушно кивнул и пошел выполнять команду.

– Не надо, я все скажу, – вырвалось у Рамы. – Его держат в подвале общежития… Там сильная охрана. Вы все равно ничего не сможете сделать!

– Ты нам поможешь, – произнес Лаврентьев. Злая, разрушительная энергия переполняла его, вела, придавая каждому действию уверенность и точность. Воспрянул дух власти, борьбы и воли к победе.

Раме приказали сесть на башню, связали ему ноги. Лаврентьев спустился вниз. С торчащей наверху фигурой они и тронулись.

Серое здание, прыгающее в триплексах, – штаб. Окно третьего этажа – огонь! Вспышка, грохот, пыль. Так вколачивается истина и достигается справедливость.

Рама мешком свалился в башню – деморализованный и бледный.

– Не сдохнешь! – крикнул Лаврентьев, саданул его крепко в челюсть, показал наверх: – Вперед!

Путаясь в веревках, Рама полез обратно…

Козлов остановился позади и длинными очередями крошил стекла окон. Звон бьющегося стекла подавляет врага.

– Рама, – Лаврентьев дернул пленника за штанину, – сейчас ты будешь громко кричать, так, чтоб слышали все, особенно твой брат Сабатин-Шах. Повторяй вслед за мной… «Командир российского полка подполковник Лаврентьев требует немедленно вернуть заложника майора Штукина. В противном случае будет уничтожена моя семья, которая находится в танке…»

Пленник не заставил себя ждать, возопил сипло, с надрывом.

В ответ раздались выстрелы. Пленник пригнул голову. Лаврентьев тут же отреагировал:

– Козлов, а ну-ка засади по второму этажу осколочно-фугасным!

И, прежде чем тот выполнил приказание, дернул Раму за штанину. Пленник послушно юркнул вниз. Облако дыма и пыли на какое-то время закрыло вход.

– Вылазь! – скомандовал Лаврентьев. – Передай, что мы сейчас раздолбим все здание!

Рама стал выкрикивать слова ультиматума, причем голос его изменился, стал обреченным и визгливым, будто у него оборвались голосовые связки.

Вдруг в одном из окон первого этажа что-то блеснуло, грохнуло, и хвостатое пламя буквально ударило в триплексы. Граната задела башню и ушла в сторону. С запозданием в две секунды ответил Козлов. Снаряд попал в окно. Когда рассеялась пыль, появился человек. Он выглядывал из подъезда и отчаянно махал тряпкой. Оглушенный Рама сидел на дне танка и мотал головой. Из ушей у него текла кровь.

– Пусть Рама выходит, а ты получишь майора!

– Скажи им, пусть сначала выведут майора! – распорядился Лаврентьев.

Но пленник не реагировал, вращал выпученными глазами и нечленораздельно мычал. Тогда Козлов вылез на башню.

– Живо гоните майора!

Боевик с тряпкой скрылся. Прошли минуты…

– Они тянут время, – включив связь, сказал Лаврентьев. – Ждут подкрепления, чтобы атаковать с тыла. Я этих мерзавцев-недоучек знаю! Ну-ка всади еще парочку по третьему этажу!

Здание заволокло дымом, сквозь черные клубы проблескивали, вырывались, будто соперничая, ярко-красные языки пламени. «Наверное, сейчас там жарко», – подумал Лаврентьев.

– Веди наблюдение с тыла! – приказал он Козлову.

– Вас понял, командир! – отозвался капитан.

Из клубов дыма появился Штукин. Он шел, прихрамывая, по битому стеклу, пыли, осколкам камней, щурясь то ли от дыма, то ли от яркого солнца. Лаврентьев приоткрыл люк и крикнул:

– Беги во вторую машину!

Штукин заковылял с ускорением, командир успел разглядеть его опухшее лицо, разорванный рукав куртки… Майор неуклюже вскарабкался на броню, и, когда он исчез в люке, Лаврентьев скомандовал: «Вперед!» Теперь Козлов шел впереди, а Лаврентьев в пятидесяти метрах позади. Когда отъехали на значительное расстояние от штаба, командир приказал притормозить, разрезал ножом путы и отпустил пленника восвояси. Штаб полыхал, о размерах потерь и ущербе можно было догадываться. «Вот вам урок, – злорадно подумал Лаврентьев, – в лучших американских традициях. Только в русском исполнении…»

Только он успел подумать об этом, как впереди, на другой стороне моста, увидел два танка. Чьими они были, он не разглядел.

– Командир, впереди танки! – вышел на связь Козлов.

– Вижу! К бою!

Но их опередили. В ничтожно короткие мгновения Лаврентьев физически ощутил, как ему в лицо уперлось жерло танковой пушки. Он понял, что опаздывает, катастрофически и непоправимо, что доли секунды потеряны, что стабилизатор не успевает за руками, что не хватает… Короткая вспышка, танк противника скрылся в пыли, а машина Козлова брызнула снопом искр. И тут Лаврентьев нажал спуск, выстрелив в облако пыли, вслепую. И уже по слабым очертаниям танка, чутьем понял, что попал… Прошли неуловимые секунды, какой-то миг, бронированная машина вздрогнула, сдетонировала боеукладка, страшной силы взрыв вырвал башню, подбросил ее на несколько метров, будто крышку от бутылки. Башня вонзилась в асфальт и так и замерла ребром, оттопырив мертвый ствол. Из танка Козлова раздался ответный выстрел, но ушел куда-то в сторону… Лаврентьев увидел, что танк горит. «Выходи, бросай машину!» – закричал он, надеясь, что Козлов услышит. Ему захотелось броситься на помощь, хотя он прекрасно сознавал абсурдность этого шага: расстреляют из второго танка, который дал задний ход, съехал с пригорка и затаился. Внезапно

он услышал радиопереговоры и подумал, что на связь вышел начальник разведки. Но это был не он. Несмотря на треск и шорохи в эфире, Лаврентьев узнал голос Моносмирова: «Нас обстреляли неизвестные танки. Один подорван!» Лаврентьев чертыхнулся, заскрежетал зубами:

– Моносмиров, сукин ты кот, это я, твой командир! А ну, иди ко мне!

Лаврентьев вылез из башни. Козлов был уже наверху, а Штукин и Михайлов, пригнувшись, бежали к его танку.

– Сейчас рванет! – крикнул Козлов, спрыгивая на землю…

Они еле втиснулись внутрь. У Михайлова было рассечено лицо и вся грудь залита кровью.

– Хорошо, рикошетом прошла, а то получили бы братскую могилу!.. – возбужденно орал Козлов. – Пушку заклинило… Хотел впиндюрить, да не попал.

Но Лаврентьев не слушал, он посылал в эфир очереди замысловатой брани, обещал кару жестокую и беспощадную:

– Танки на место, гаденыш! Прямо сейчас, пока я вас бомбами не забросал. Ты с кем воевать надумал, засранец?! Да я вас всех в дуло засуну!..

– Товарищ подполковник, я все понял. Я не знал, что это вы… Я думал, это фундики! Честное слово! И разрешите танки вернуть позже? Без них никак нельзя!..

Танк круто развернулся, пыхнул сизым дымом и, набирая скорость, пошел по дороге с чахлыми деревьями по обочинам. Моносмиров уходил, не отвечая на лаврентьевский мат.

Лаврентьев проводил танк взглядом через прицел, видел подпрыгивающую башню, под которую он должен был вонзить снаряд… Танк скрылся за поворотом, и он медленно снял руки с пульта, так и не разобравшись в себе: что он больше пожалел – полковой танк или мальчишку-беглеца. «Пусть воюют…»

Перед въездом в полк Лаврентьев вылез на башню. Прапорщик открыл ворота… Прибежал Костя Разночинец, потащил Михайлова перевязывать. Ольга стояла на пороге штаба и со страхом смотрела то на Михайлова, то на командира, то на потемневшего лицом Штукина. Будто преодолев внутреннюю преграду, она устремилась к Лаврентьеву, но на последних шагах, наткнувшись на его взгляд, остановилась. Командир глянул на нее равнодушно и, ни слова не сказав, прошел в кабинет.

И снова началась война: фундаменталы начали штурм. Они посчитали себя уязвленными, а полководческое предвидение и предосмысление Сабатин-Шаха подсказало, что момент выбран удачный. Враги упоены временной победой, военные успокоились, получив своего начштаба, к тому же удачно сгорели два танка. И, надев на головы измятые повязки неопределенного цвета, они с гиканьем, выстрелами и минометной канонадой бросились на ворота и забор…

– Команчи! – воскликнул прапорщик, дежурный по КПП. Это был условный сигнал опасности. И тут же юный боец пал замертво. Бронетранспортер на центральной аллее заговорил огнем. Увы, боестолкновения стали однообразными, повторяющимися, люди смирились с участью, они отупели от кровавой и дымной схожести дней, жили и двигались как большие грязные марионетки с крупными зубами, жесткими бородами, вонючими автоматами и ирреальной злобой. Грязные повязки на головах отлетали вместе с головами или падали на землю, такого же нейтрально-серого цвета.

Сцена – территория полка – покрылась дымовым занавесом, еще продолжались отдельные выстрелы, как неуместно затянувшиеся аплодисменты. Еще кто-то кричал и стонал; в небесах по-прежнему скучно висело светило.

На носилках унесли прапорщика. Пули пробили его грудь и живот, вырвав и разбросав на пыльном асфальте кровоточащие куски. Вероятно, стреляли разрывными пулями, а может, кто-то еще бросил гранату. Костя снял очки, вытер заслезившиеся вдруг глаза… Не правы те, кто утверждает, что хирурги – бесчувственные люди. Просто их раны покрылись коркой. Капитан уже ничем не мог помочь, и хорошо, что прапорщик умер сразу, не мучаясь, хорошо, что долго не лежал в этой высушенной грязи, под взорами любопытствующих, которых при жизни всегда притягивает зрелище чужой смерти…

* * *

И у старины Хамро был смутный час, есть во времени такой несчастливый час, сжатый безмолвным ужасом, внутренним огнем напоенный, перекрученный в черном пространстве и слитый с ним. Именно в этот час Хамро решился уйти из опустевшей тюрьмы. Тюрьма – единственное место, где двери имеют замки лишь снаружи. Хамро сидел безмолвным истуканом, прислушивался к шорохам, ирреальным звукам, отдаленным постукиваниям, порой ему чудились тихие шаги в гулком тюремном коридоре.

Везде были следы разгрома: матрасы, валявшиеся на полу, горы тряпья, осколки ампул, ложки, алюминиевые миски, коробки из-под чая, бирки с фамилиями, сорванные с груди. Тут Хамро вспомнил, что так и продолжает носить свою этикетку. Он оторвал ее, но наземь не бросил, а спрятал в кармане. Очень хотелось есть.

Утром он понял, что в свихнувшемся городе есть только одно место, где он может, во-первых, спастись, а во-вторых, официально подтвердить в случае необходимости свою лояльность к оставшемуся сроку и горячее желание его отбыть и искупить. Он пересек мертвое пространство между полком и тюрьмой, завидел дощечку, припертую к забору, – здесь прапорщики и лейтенанты срезали свой путь, – поднатужился, с разбегу вскочил на нее, ухватился за край забора, еще разок поднатужился, застряв на верху, и перевалился на другую сторону. Хорошо, что его сразу не застрелили.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/dyshev_sergey/do-vstrechi-v-rayu

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить